

НОСИТЕЛИ ТАЙНЫХ ЗНАНИЙ

АЛЕКСАНДР
СЕНКЕВИЧ

ЕЛЕНА БЛАВАТСКАЯ

МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЬМОЙ

Носители тайных знаний

Александр Сенкевич

**Елена Блаватская.
Между светом и тьмой**

«Алгоритм»

2012

Сенкевич А. Н.

Елена Блаватская. Между светом и тьмой /
А. Н. Сенкевич — «Алгоритм», 2012 — (Носители тайных
знаний)

ISBN 978-5-4438-0237-4

«Бабушка мирового оккультизма» Елена Блаватская до сих пор будоражит умы. Одни бурно восхищаются скрытыми возможностями человека разумного, которые изучала Блаватская, другие яростного обвиняют ее в черной магии и шарлатанстве. Автор этой книги — известный индолог А.Н.Сенкевич, на основе глубокого изучения наследия самой Блаватской, в том числе в библиотеке Адьяра, и знакомства с источниками многочисленных исследователей из разных стран мира сумел создать объемный образ загадочной русской исследовательницы — оккультиста, спиритуалиста, философа Е.П.Блаватской, попытавшейся проникнуть в мир, закрытый для простых смертных.

ISBN 978-5-4438-0237-4

© Сенкевич А. Н., 2012

© Алгоритм, 2012

Содержание

Пролог	5
Часть первая	13
Глава первая	13
Глава вторая	21
Глава третья	26
Глава четвертая	30
Глава пятая	35
Глава шестая	41
Глава седьмая	57
Глава восьмая	68
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Блаватская

Александр Сенкевич

Эта книга не могла состояться без участия Зинаиды Сенкевич, которая проводила многие часы в московских библиотеках и архивах, чтобы выявить необходимые для автора даты и документы. Моя ей глубокая благодарность за самоотверженный труд и благородное подвижничество. Выражаю искреннюю признательность за помощь в работе также Дмитрию Сергеевичу Акимову и Вадиму Алексеевичу Смирнову.

Пролог

Муссон пришел на южный берег Бенгальского залива. Разверзлись хляби небесные, и дождевые потоки обрушились на массив обширного парка. Багрово-красные молнии взрвали плотный покров ночи, и на мгновение обнажалась светящаяся тьма Космоса. Тяжелый парной дух шел от земли и деревьев. Мои глаза заплыли от пересыпа. А что еще остается делать под неумолчный шум дождя?

Но почему я оказался здесь – в индийском городе Мадрасе, в нынешние дни переименованного в Ченнаи, в адьярском поместье, купленном по случаю в XIX веке Еленой Петровной Блаватской, урожденной Ган, моей соотечественницей? Что привело меня, спросите вы, сюда, почти на край света? Обычное любопытство. Я захотел узнать, что из себя представляет на самом деле эта необыкновенная женщина с внешностью капризной русской барыни, которая любила объедаться, как ведется издавна на Руси, тяжелой пищей: пирогами, студнями и квашеной капустой. Блаватская курила без перерыва, как распаленная разговором суфразистка, папиросу за папиросой. Во время разговора постоянно облизывала языком тонкие пересыхающие губы и не давала собеседнику вставить слово. Она пыталась ничтоже сумняшеся заглянуть в потайные мысли всех пророков мира – найти в них вразумительные ответы на вопросы: откуда появились на земле мы, люди, зачем мы живем и что нас ожидает в ближайшем и далеком будущем?

Кроме того, она узнала и рассказала, как сумела то, что задолго до нее поведал миру великий Вольтер: Индия – родина всех религий в их первоизданном виде и колыбель человеческой цивилизации. Из этого заявления следовало, что не только христианская вера во многом основывается на религии Брахмы, но и древнеиндийская мудрость в соединении с универсальным эзотерическим, то есть сокровенным, знанием всех времен и народов способна принять новую форму богомудрия – теософию. К тому же Елена Петровна Блаватская с необыкновенным упорством проповедовала существование «Гималайского братства махатм, великих душ» – хранителей тайного знания исчезнувшей Атлантиды, наших старших братьев по разуму.

Что мы по существу знаем о Елене Петровне Блаватской? Как ни странно, очень мало. Несомненных и непреложных фактов жизни моей героини наберется на тоненькую книжицу, несравненно больше версий и измышлений о ее сверхъестественных способностях, которые кочуют из одной книги в другую. Она сама задала тон моде превращать себя, молодую духом, смешливую и легкомысленную, по-существу, женщину в мистическую фурию, в «старую леди», наделенную даром ясновидения, телепатии, левитации, телекинеза и еще бог знает чего. Именно такой, одновременно простоватой и надменной, предстает Блаватская на наиболее растиражированном «парадном» портрете, сделанном в 1889 году, за два года перед ее смертью.

С дагерротипа смотрит на нас грузная женщина, с укутанной в платок массивной головой, с отеком лица, с выпученными базедовыми глазами, с наполовину седыми, в мелких кудряшках волосами, разделенными пробором, – уставшая от жизни, упертая на своем старая тетка, иначе не скажешь. Плотный сжатый рот с акульным разрезом – последний и убедительный штрих к устрашающему образу. Ее последователи, по-видимому, из-за уважения и сострадания к ней называют этот портрет «Сфинкс». Но и в таком отталкивающем виде, обессилевшая в борьбе за свое детище – Теософическое общество, она все еще влияла на людей, на ход их мыслей и поведение.

Как ни вглядывайся в этот портрет, на нем не увидишь и следа той былой романтической ауры, которая когда-то ее окружала. Елена Петровна по молодости надеялась, что в этой ауре она прополочет и отмоем все свои грехи.

Некогда привлекательные черты ее облика подавил и исказил тяжелый взгляд манипулятора, умеющего при необходимости извлекать выгоду из людей и ситуаций. Подобные лидеры появлялись и появляются в истории человечества и тут же обычно исчезают, как пузыри на воде. На смену им приходят другие, впрочем, со своими завиральными идеями, как правило, не оригинальными, уже бытовавшими среди людей и всего лишь перелицованными на новый лад.

Так почему же до сих пор интерес к Блаватской не ослабевает? Почему трудно сопротивляться магнетизму ее личности? Не потому ли, что существовало в ней простодушное благоговение перед таинственностью жизни? Она сумела до последних дней сохранить в себе дух экзотики. Неведомый большинству людей оккультный мир встает со страниц ее сочинений.

Ясновидение, духовидение, психометрия, чтение мыслей, левитация – вся эта экстрасенсорика кем-то воспринимается тайным подвохом, который устраивают с корыстной целью нечистые на руку люди, а для кого-то это прорыв в завтрашний день человечества, открытие скрытых возможностей человека разумного. Возвращение к тем ментальным практикам, которые были выработаны в стародавние времена, сохранились в культовых традициях некоторых восточных народов и на протяжении тысячелетий, вплоть до дня сегодняшнего, передаются по цепочке от высшего адепта, мастера оккультной науки и философии, к рядовым посвященным.

Таким образом, вернуть утраченное могут только хранители этих знаний, главные среди посвященных, иерофанты (буквально «тот, кто разъясняет священные понятия»).

В это можно верить и не верить. Но покуда существует подобная дилемма, такие люди, как Блаватская, востребованы обществом, им поклоняются и ревностно служат.

Я отнюдь не воображал, что Адьяр, во времена Блаватской – пригород Ченнаи, где до сих пор расположена штаб-квартира Теософического общества, откроет мне многие тайны Е.П.Б. – так называли Елену Петровну Блаватскую ее сподвижники. Не настолько я был самонадеян. Единственное, на что я в полной мере рассчитывал, это научиться отличать белое от черного, свет от тьмы.

Блаватская мерещилась мне за каждым поворотом тропинки, за каждым деревом в парке. Она неуловимо присутствовала в Адьяре, ее грузная фигура временами грезилась мне в сновидениях.

Блаватская успела в своей жизни немало сделать: написала с дюжину книг, сотни статей и еще больше писем, учредила Теософическое общество.

Созданное Блаватской своей монументальностью вот уже более ста лет производит неизгладимое впечатление на многих людей. Творчество было ее страстью и судьбой. Между тем на ее волшебный литературный талант воспроизводить суетную человеческую жизнь, как завораживающую, наполненную космическим смыслом мистерию, на ее редчайшее уме-

ние беллетризовать схоластические доктрины, относящиеся к вненаучным источникам знания, мало кто из ее воспоминателей и биографов обращал внимание.

Не будем чрезмерно суровыми к Елене Петровне Блаватской. Лучше обратимся к рассуждениям Мишеля Монтеня о психологической природе человека. Французский писатель и философ эпохи Возрождения взглянул на человека без розовых очков: «...что действительно заслуживает настоящего осуждения – и что касается повседневного существования всех людей, – это то, что даже их личная жизнь полна гнили и мерзости, что их мысль о собственном нравственном очищении – шаткая и туманная, что их раскаяние почти столь же болезненно и преступно, как их грех. Иные, связанные с пороком природными узами или сжившиеся с ним в силу давней привычки, уже не видят в нем никакого уродства. Других (я сам из их числа) порок тяготит, но это уравнивается для них удовольствием или чем-либо иным, и они уступают пороку, предаются ему ценою того, что грешат пакостно и трусливо».

На эту глубокую мысль трудно что-либо возразить. Представим, что Монтень на сто процентов прав, тогда на ум приходит один контраргумент: если человеческая жизнь настолько порочна и безобразна сама по себе, то стоит ли вообще жить?

Убежден, что перед Блаватской в определенные моменты ее жизни также вставал этот вопрос. Она его для себя решила, обратившись к мудрости Индии. В этом обращении к индуизму и буддизму она, православная христианка по происхождению и воспитанию, была одной из первых русских женщин, если в то время даже не единственной. Через несколько десятилетий после смерти Блаватской Индия духа, как огромный материк, вдруг стронулась с места, и ее движение вызвало поистине тектонические сдвиги в сознании сотен тысяч людей Запада. Этому процессу тоже в немалой степени способствовала Елена Петровна, ее творчество и созданное ею Теософическое общество.

Религиозные воззрения Блаватской укрепляли креативных дух Уильяма Балтера Йейтса, Джорджа Уильяма Рассела, Джеймса Джойса – выдающихся представителей ирландского литературного возрождения. Окультиный пафос ее сочинений воздействовал на американских и английских писателей: Джека Лондона, Дэвида Герберта Лоуренса, Томаса Стернза Элиота, Герберта Уэллса, Артура Конан Дойла.

Ее учение о семичленной структуре человеческого существа повлияло на русских писателей-символистов, в особенности на Андрея Белого. Трудно найти хотя бы одного поэта Серебряного века, не испытавшего на себе магизма ее личности и дерзких предположений о происхождении человека и его возможностях. Константин Бальмонт смотрел на нее, как на мистический дух музыки Каллиопы. Книги Блаватской высоко ценили Василий Кандинский и ряд других крупных русских художников. Большой интерес к ее работам испытывал один из основоположников абстрактного искусства голландский художник Пит Мондриан. Ее мистическими идеями увлекались Пауль Клее и Поль Гоген. Ее теософские доктрины совершили переворот в сознании таких великих композиторов, как Густав Малер, Ян Сибелиус, Александр Скрябин. Теософские воззрения Блаватской, включая миф о махатмах, оказались созвучными умонастроениям Н. К. и Е. И. Рерихам.

Причины, по которым эти люди обращались к личности и творчеству Блаватской, были различными. Одних из названных лиц она захватила непредсказуемой артистической натурой и анархическим темпераментом, способностью разрушать устойчивые представления о миропорядке всякими перформансами, вроде появления из ниоткуда пресловутых Учителей, махатм.

Этими экзотическими эскападами она пыталась убедить всех и каждого, что сверхъестественное куда роднее и ближе человеческой душе, чем естественный мир, скучный в своей упорядоченности.

Других интеллектуалов и мастеров кисти, пера и гармонии Блаватская ввела в соблазн умопомрачительной мудростью древних, словно навсегда утерянной, но, к счастью, вновь обнаруженной, из которой выпирала духовность, как ребра из-под кожи истощенного долгой аскезой йога. И наконец, всех остальных она просто загипнотизировала целеустремленностью, непреклонной волей и сокрушительным оптимизмом.

Обладая всеми этими качествами, Блаватская не обращала внимание на привходящие неблагоприятные жизненные обстоятельства и на всех парусах неслась к намеченной цели.

Время, в котором оказались востребованными сочинения моей героини, требовало от людей во всех сферах их деятельности коллективных усилий. В итоге, однако, плодами победы удавалось воспользоваться вовсе не тем, кто ее подготавливал, не какой-то группе единомышленников, а единственному человеку, лидеру, который выпрыгивал из коллектива, используя его, как батут или как туго сжатую пружину. При этом на бывших сподвижников выливались потоки грязи.

Может быть, это был самый важный урок, который она преподавала всем творцам нового искусства, пришедшим вслед за ней и очутившимся на той же непроторенной дороге, ведущей к созданию новых земли и неба. Недаром взаимоотношения крупнейших деятелей Серебряного века весьма далеки от дружественных. Почти каждый из них утверждал свое величие не за счет истощенности другого, а путем его охаивания.

Уже одного этого достаточно, чтобы, воздав должное уму и проницательности русской теософки, не очаровываться до сердечных спазмов ее образом.

Что делала и как жила Елена Петровна, представлялось безрассудным и нелепым с точки зрения законопослушных граждан, ее современников. Однако такая жизнь Блаватскую более чем устраивала! Она избегала не людей, а толпы, ограниченной в своих привязанностях и вкусах и агрессивной в отстаивании своих предрассудков. Не выносила на дух людского сообщества, в котором не принято совать свой нос, куда не следует, и где властвует сословная иерархия и предубеждения. Такой мир, благоприятная среда для общественного лицемерия и ханжества, а также размножения нечистых на руку, ненасытных чиновников, не подходил ей, был попросту враждебен.

Блаватская с самого детства не скрывала своей эгоцентричности и авторитарности, желая поступать своевольно, как ей вздумается. И в то же время вдруг, совершенно неожиданно, она становилась откровенной и притягательно простодушной. Эти качества лидера не исчезли, а, наоборот, крайне обострились в уже в зрелые годы, когда Блаватская выдвинула смелые предположения о силе человеческого духа и его эволюции. Особенно развилась тогда пытливость ее ума, как, впрочем, и фантазия, временами становившаяся безудержной.

Когда человек, омытый долгим страданием, переступает роковой предел, он уже не подвластен суду людей. Он устремляется к тому и соединяется с тем, по ком тосковал и кого желал на Земле, – к Богу или дьяволу.

Время, в котором жила Блаватская, совмещало несовместимое и портило людям художественный вкус. Это было время викторианской морали, воинствующего и утонченного ханжества. А у нее на родине – время добрых помыслов и всевластия чиновничества, непомерных амбиций верхов и политических авантюр, великих реформ и начавшегося возрождения России. Это было время неутраченной шестидесятилетней войны на Кавказе и небывалого расцвета журналистики и литературы.

Блаватская относилась к литературному творчеству как к забаве и отдыху. Она писала о своих странствиях живые, увлекательные очерки и многостраничные, с трудом читаемые трактаты.

Ей ставили в вину короткое увлечение спиритизмом, усматривая в нем алчность, желание нажиться на легковверных людях. Многие из ее бывших соратников так и не поверили

в Учителей, великих душ, адептов Гималайского братства, напрямую обвиняя ее в злонамеренной мистификации. Они утверждали, что Блаватская добилась успеха в делах Теософического общества, придумав этих великих душ, а творимые ею с их помощью чудесные феномены они относили к обыкновенным цирковым трюкам. Ее подозревали в подделывании почерка Учителей, которые любили писать письма и рассылать их по адресам ее знакомых.

Ну и что из того? Ведь суть не в том, что Блаватская прибегала к иллюзионистской практике, а в том, что она так поступала по необходимости, пытаясь донести до сознания людей вещи чрезвычайно важные и тем самым отвратить человечество от грубого материалистического взгляда на мир. Потому-то в ее действиях по созданию Теософического общества как всемирной психотерапевтической организации, как принципиально новой системы управления людскими массами, все средства, как она полагала, были хороши. Со своим окружением Блаватская особенно не церемонилась, в отношениях с ним в ней отсутствовали порядочность и честность.

Она шла на прорыв, утверждая новую реальность, ни перед чем не останавливаясь и побуждаемая к этому обстоятельствами своей жизни, психическими особенностями своей натуры, а также сама заипнотизированная мудростью древних.

Никто из тогдашних оппонентов Блаватской, к сожалению, не понял, что она одна из первых на Западе воскресила сложнейшие психологические приемы микромагии, или, как еще ее называют, ментальной магии, известные на Древнем Востоке и с тех пор прочно забытые.

Существовали также среди англичан дотошные «умники», кто называл теософическую деятельность Блаватской ширмой для вещей более осязаемых: они обвиняли ее в шпионаже в пользу России. Но и в таком взгляде на ее деятельность нет ничего предосудительного. Основоположница теософии, по крайней мере, всеми силами стремилась к карьере «спецагента», что явствует из ее письма в третью экспедицию (работа по иностранцам) Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.

Это письмо, обнаруженное в Московском архиве Октябрьской революции ленинградскими исследователями Б.Л. Бессоновым и В.И. Мильдоном, всего лишь дополнительное свидетельство искреннего патриотизма Блаватской. Она оставалась русской по своим мыслям и действием вплоть до преждевременной смерти в шестьдесят лет вдали от России, в Лондоне.

А чего в самом деле ей было стыдиться, чего утаивать перед судом потомков? Неужели желание видеть свою страну сильной, процветающей и способной защитить себя, тем более в условиях антироссийских интриг – нравственное преступление?

Я убежден, что работа в пользу одной из государственных организаций, стоящих на страже интересов Родины, сама по себе никак не может скомпрометировать гражданина и художника. Никому ведь не приходит в голову упрекать великого фламандского художника Рубенса или знаменитого английского писателя Грэма Грина в том, что они имели отношение к деятельности спецслужб своих стран. А уважаемый англичанами востоковед, полковник Лоуренс Аравийский был не просто сотрудником военной разведки, но и одним из выдающихся людей своего времени. Другое дело, когда спецслужбы превращаются в карательные органы и занимаются массовыми убийствами собственного народа или создают очаги терроризма в чужих странах. Впрочем, это уже другая эпоха и другие люди, никакого отношения не имеющие к моей героине.

И все-таки становится как-то не по себе, когда представишь, что за фигурами духовных учителей Блаватской – махатм Мории и Кут Хуми, стоит какое-нибудь кувшинное рыло, вроде его превосходительств Никанора Степановича или Степана Никаноровича из Третьего

отделения. Людей, может быть, умных и образованных, но непоправимо нравственно обезображенных спецификой профессии, которую они для себя избрали.

Блаватская и врагу не пожелала бы испытать и частички того, что выпало на ее долю, когда она оказалась практически одна, без кола и двора в чужом, сотрясаемом национально-освободительными войнами мире. Понятно, какую пищу дает ее кочевая, одинокая жизнь изобретательным и злым языкам. Да, Блаватская окутала определенный период своей жизни тайной. Но причина ее скрытности была не в том, что она стыдилась каких-то своих сомнительных поступков, недостойных ее происхождения и таланта. Чистоплюйкой моя героиня не была и с людьми, которых духовно «окормляла», особо не церемонилась. Не скрывала, по крайней мере, в своих письмах, что сама в нравственном отношении вела себя не так, как хотелось бы. Это умолчание о некоторых периодах ее жизни, на мой взгляд, объясняется исключительно тем, что она не любила говорить о действительно выстраданных вещах. Ведь все эти выпавшие из поля зрения ее биографов годы Блаватская, как она признавалась, настойчиво «искала встречи с *неведомым*».

К тому же она боялась огорчить своих родственников рассказом, почему, как и с помощью кого овладела эзотерической мудростью Востока. Не забывайте, что вся ее родня относилась к людям консервативным, считавшим себя добрыми христианами.

Как она вспоминала, родственники предпочли бы видеть ее обычной проституткой, чем тем, кем она была на самом деле, – женщиной, с головой погруженной в занятия оккультизмом. И только спустя много лет после начала ее странствий сестра Вера и тетя Надежда Андреевна наконец-то признали ее главные идеи о высоком оккультизме достойными внимания. Эти идеи поразили их воображение, и близкие поддержали ее. Иначе ей пришлось бы совсем туго.

Вместе с тем Вера Петровна долгое время наотрез отказывалась поверить в реальное существование Учителей, чем основательно огорчала Блаватскую, а ее тетя Надежда Андреевна Фадеева поверила в них только на короткое время под сильным нажимом племянницы. Зато впоследствии некоторыми своими фантазиями и рассказами о непостижимом и необъяснимом сестра Блаватской превзошла даже ее.

Ощутимый удар по посмертной репутации Блаватской нанес не столько Всеволод Соловьев, автор посвященной ей и изданной после ее смерти книги «Современная жрица Изиды», сколько ее двоюродный брат – граф Сергей Витте, рассказавший о ней в своих воспоминаниях много такого, о чем близкие родственники предпочитают забыть.

Правда, нашлись заступники, защитники ее доброй репутации, которые не преминули отметить, что, когда Елена Петровна вернулась в Россию в конце 1858 года, семь лет находясь неизвестно где, ее двоюродный брат Сергей был в чересчур нежном возрасте, чтобы иметь о ней собственное мнение. До сих пор трудно понять, зачем выдающемуся государственному деятелю и барину по своей натуре понадобилось вывешивать перед всем светом грязное белье своей ближайшей родственницы.

Можно с уверенностью предположить, что всем своим непокладистым и авантюрным характером она крепко насолила его матери, Екатерине Андреевне Витте, тетке Елены Петровны. Не забудем о том, что после смерти своей сестры Елены Андреевны, матери Блаватской, тетя Катя, как ее называли сестры Ган, приняла основную заботу по образованию и воспитанию племянниц Лели и Веры, а также племянника Леонида. Ведь бабушка детей Елена Павловна Фадеева уже тогда была серьезно больна.

Блаватская вновь и вновь искала подтверждения своей платонической любви к полубожественным человеческим существам, ее Учителям, с помощью которых она выявляла то таинственное и непостижимое, что в ней существовало от рождения. Благодаря им, как

она объявляла, возможно пробуждение божественного начала в человеке, его мистическое совершенствование.

В разных местах (уединенных и не очень) индийского субконтинента я общался с подобными людьми, учеными брахманами, «пандитами», как их называют в Индии, а также с буддийскими вновь воплотившимися праведниками – «тулку» (тиб., букв. «тело воплощения»). В своем большинстве это были обходительные, скромные, культурные люди. Некоторые из них имели репутацию святых или блаженных, как обычно называли их в прошлых столетиях. Среди многих благородных качеств их натуры особенно выделялись два: доброта и мудрость.

В штате Раджастан случай не раз сводил меня с раджпутами, ведущими свою родословную от воинов прошлого, мужественных индийских рыцарей. Как мне представляется, Блаватская провела немало часов в общении и с «высокими ламами», хранителями и знатоками основных учений тибетского буддизма.

Весьма вероятно, что Учителя Блаватской были из той же самой, сейчас в Индии сильно в количественном отношении сократившейся, духовно-интеллектуальной индусской и буддийской элиты.

Блаватская поняла (опять-таки с помощью Учителей, как она уверяла), что человеческая душа и ум также эволюционируют в своих бесконечных телесных оболочках.

Мистическое учение, как проповедовала моя героиня, есть единственный ключ к пониманию и осмыслению истин, скрытых от обычных смертных. Не будь этих истин, человечество несло бы без руля и ветрил в потоке времени неизвестно куда, не видя и не осознавая смысла и цели своего земного существования. А потому она упорно, до самозабвения, пыталась добраться до корней этого учения, уразуметь его истинный смысл, проследить все зигзаги его развития. Из старинных манускриптов, из личного общения, сопровождаемого долгими беседами с просвещенными учеными индусами и буддистами, собирала она разрозненные фрагменты универсального знания, соединяла их друг с другом своей фантазией – и все это для того, чтобы глубже понять, зачем мы живем на земле.

Она догадывалась, что мистическое учение своим источником имеет тайное, эзотерическое откровение. В духовном смысле (она в это самозабвенно уверовала) оно есть закон для жизни человека, и этот закон называется пророчеством древних.

Но кто они и откуда, эти древние? – вот что не давало покоя Блаватской в ее скитаниях.

Елене Петровне было ясно, что истинные пророки появились задолго до ветхозаветных. Они принесли в мир людей мудрость и стремление к порядку и гармонии.

Ей предстояло обнаружить, как она объявила, свидетельства, определяемые мистическим законом, изложенным и преподанным ей ее Учителями. И в соответствии с ними, этими свидетельствами, выстраивать свою собственную жизнь и жизнь других людей.

Блаватская была убеждена, что тайное учение объемлет в человечество единой истиной, все поступки и действия людей – от времен доисторических до настоящих дней. Эта истина неделима и содержит в себе необходимость объединить всех людей в одну семью, проповедует веру в единство человеческого рода.

Как известно, дорога к истине усеяна колдобинами и рытвинами. Не обладая обычным усердием и любознательностью к ценностям иной культуры, шагая или пробираясь наощупь по этой дороге, есть вероятность свалиться в выгребную яму ложных умозаключений.

Блаватская пыталась стереть черту между действительностью и вымыслом. Цель всякого добросовестного исследователя ее личности и творчества: рассмотреть вымысел через

призму действительности, а не заниматься аранжировкой ею же созданного. Блаватская как художник – уникальна, и бессмысленно улучшать или ухудшать ее образ.

Пытаясь восстановить мистические очертания эпохи, в которой жила и созидала Блаватская, я обратился к важнейшим оккультным событиям того времени. Я знакомился с ними опосредствованно, то есть получал информацию из вторых рук: из журнальных и газетных статей второй половины XIX века. Меня в этом случае, надеюсь, оправдает непреложная историческая закономерность: спустя столетие тщета газетного листа, как правило, оборачивается для потомков своей противоположностью – необыкновенным, особенным смыслом. По настоящему же открыли мне глаза на Елену Петровну Блаватскую ее письма. Адресатами основательницы теософии были ее родные, друзья, единомышленники, враги...

Елена Петровна Блаватская уже предстала перед судом истории и какой окончательный вердикт будет вынесен по ее теософическому делу, пока никто не может предугадать. Не стоит забывать, однако, в связи с провозглашенной ею верой в Учителей человечества, звездных братьев, махатмам глубокую мысль гениального русского ученого и писателя Ивана Ефремова:

«Если нет Бога, то возникала вера в сверхлюдей с той же потребностью преклонения перед солнцеподобными вождями, всемогущими государями. Те, кто играл эту роль, обычно темные политики, могли дать человечеству только фашизм и ничего более».

Остается надеяться, что не такого будущего для своих потомков желала и ожидала русская теософка.

Я вспоминаю долгий разговор в Индии о теософии с президентом Международного теософического общества Радхой Бернье в октябре 1990 года. Вот что сказала мне тогда эта умная и проницательная женщина: «Теософия – это не Елена Блаватская, не Генри Стил Олкотт, не Анни Безант, не Чарлз Уэбстер Ледбитер. Теософия – это путь к познанию неизведанного».

О том, как складывалась на этом пути жизнь и судьба Елены Петровны Блаватской, – эта книга.

Часть первая В объятиях родни

Глава первая Начало

Тому, кто пытается осознать череду событий собственной жизни и глубже понять самого себя, необходимо оглядеться назад и всмотреться в судьбы своих предков. Если кто-то из родичей наследил в истории, то непременно возникнут эпизоды его отчаянной борьбы за свое место под солнцем, воссозданные теми, с кем он жил, общался и работал. Но прямо скажем – чаще всего это будет зрелище не для слабонервных. Принадлежать к историческим фамилиям далеко не всегда так уж приятно для потомков, как может показаться со стороны. В истории каждого известного рода имеется свой «скелет в шкафу».

Елена Петровна Блаватская родилась и выросла в аристократической семье. Генетическая наследственность Блаватской, как писала ее биограф Е. Ф. Писарева, интересна в том отношении, что среди ее ближайших предков были представители исторических родов Франции, Германии и России.

Так, например, ее прабабушка со стороны матери княгиня Генриетта Адольфовна, урожденная Бандре дю Плесси, внучка эмигранта-гугенота, в конце 1787 года вышла замуж за князя Павла Васильевича, носящего громкую русскую фамилию Долгоруков, заслуженного екатерининского генерала. Вскоре она произвела на свет с интервалом в год двух дочек – Елену и Анастасию и, оставив малышей на попечении мужа, исчезла из семьи на целых двадцать лет! Девочек воспитывала в основном их бабушка Елена Ивановна Бандре дю Плесси, урожденная Бризман фон Неттинг, немка из Лифляндии, потому что ее муж генерал-поручик Адольф Францевич Бандре дю Плесси вскоре после рождения внучек умер, а их отец Павел Васильевич Долгоруков постоянно находился в воинских частях, где проходила его служба.

Адольф Бандре дю Плесси приехал в Россию из Саксонии по приглашению Екатерины II и начал свою военную карьеру в России с капитанского чина. Он участвовал во всех войнах ее царствования и был любим Суворовым, с которым состоял в переписке. В семье бабушки Блаватской Елены Павловны Фадеевой (в девичестве Долгоруковой) долго сохранялись эти уникальные по мысли и своеобразные по стилю суворовские письма.

Адольф Францевич Бандре дю Плесси также проявил себя и на дипломатическом поприще. Ему особо покровительствовал тогдашний канцлер граф Никита Иванович Панин.

Генриетта Адольфовна была единственным ребенком в семье. В молодости она отличалась красотой и неугомонным нравом, толкавшим ее на всякие необдуманные легкомысленные поступки. Прожив с князем Павлом Васильевичем Долгоруковым всего лишь несколько лет, она в дальнейшем, как я только что отметил, предпочла жить с ним врозь. Однако за три года до своей смерти Генриетта Адольфовна одумалась и вернулась к мужу. Она скончалась в 1812 году на пути из Пензы в Киев, куда ехала для свидания с матерью. Князь Павел Васильевич Долгоруков пережил ее на двадцать пять лет.

Бабушка Блаватской, Елена Павловна, родилась 11 октября 1789 года, когда Павел Васильевич командовал тверским драгунским полком под Очаковым. Елена Павловна получила хорошее домашнее образование. Этому способствовала не столько ее бабушка Елена Ивановна, сколько подруга бабушки, жившая с ними по соседству, – графиня Дзялынская, женщина большого ума и глубоких знаний, настоящая представительница эпохи Просве-

щения. Она оказала огромное влияние на развитие девочки. Интерес к ботанике, истории, археологии, стремление добыть знания с помощью чтения книг, без привлечения к обучению гувернеров и гувернанток – все это результаты многолетнего общения княжны Елены Долгоруковой со своей мудрой наставницей.

Надежда Андреевна Фадеева, тетя-подружка Блаватской, по возрасту всего-то лишь на три года ее старше, опубликовала в 1866 году в «Русском архиве» статью «Заметка о родословии князей Долгоруковых». Как известно, княжеский род Долгоруковых восходит к Рюрикам и среди его известных представителей находится Михаил, князь Черниговский, потомок святого князя Владимира. В своей статье Н. А. Фадеева пишет: «Князь Павел Васильевич, отец моей матери, родившийся в 1755 году, пожалованный офицерским чином еще в колыбели, тоже служил в военной службе, которую начал и закончил в Рязанском полку; был впоследствии командиром этого же полка, принимал участие во многих походах и военных делах того времени, участвовал в походе на Кавказ с корпусом графа В. А. Зубова, получил Георгиевский крест, и в начале царствования императора Павла, не желая брать на себя выполнение тогда вводимых разных суровых мер в военной дисциплине, вышел в отставку в чине генерал-майора к неудовольствию императора, и тем, вероятно, лишил себя блестящей карьеры. Потом он получал неоднократно приглашения продолжить снова службу, но уже не желал возобновить ее, поселился навсегда возле своих родителей в Пензенской губернии и скончался в Пензе в 1837 году 82 лет от роду».

Отец Елены Петровны Блаватской Петр Алексеевич Ган вел свою родословную от старинного аристократического рода владетельных мекленбургских князей Ган фон дер Роттенштерн Ган, который восходил, по семейному преданию, к женской линии Каролингов и германским рыцарям-крестоносцам.

Прадедушка Елены Петровны Густав Ган родился в Анхальт-Цербсте и существует предположение, что с детских лет он был знаком со своей сверстницей, тамошней принцессой, которая известна в России как Екатерина II. Прадедушку Блаватской Густава фон Гана по приезде в Россию стали называть Августом Ивановичем. Он был обласкан Екатериной II, из рук которой получил высокую должность Санкт-Петербургского почт-директора, чин действительного статского советника, российское дворянство и герб. В основе герба был древний рыцарский герб Ганов: красный шагающий петух на серебряном щите. Августу Ивановичу были также пожалованы земли, в том числе и в Приднестровье.

Один из его сыновей, Алексей Августович (около 1780-около 1830), дед Елены Петровны, дослужился до звания генерал-лейтенанта. Алексей Августович фон Ган жену взял из графского рода – звали ее Елизавета Максимовна фон Пребстинг, которая родила ему восемь сыновей. После его смерти она вышла замуж за Васильчикова. Среди дядей Блаватской с отцовской стороны наиболее близкими ей были Иван Алексеевич и Алексей Алексеевич, Первый из них был ротмистром лейб-гвардии кирасирского полка, а затем директором портов России в Санкт-Петербурге. Второй ее дядя жил как ссыльный безвыездно в родовом поместье близ села Шандровка Екатеринославской губернии, что на реке Орели. Такое наказание он получил за свое участие в Южном обществе декабристов. В этом имении Елена Петровна бывала в гостях в разные годы своей жизни вместе с матерью, отцом, сестрой Верой и ее детьми.

Была среди родственников отца и европейская знаменитость – графиня Ида фон Ган-Ган (1805–1870), писательница, автор многочисленных популярных романов, повестей, сказок и агиографических сочинений, столь же в то время известная, как Жорж Санд. На закате своих дней она занималась благотворительностью и приложила немало усилий, чтобы падшие женщины вернулись к праведной жизни. Она приходилась Елене Петровне двоюродной бабушкой. Понятно, что при таких предках Блаватской было бы просто невозможно вести жизнь обыкновенной обывательницы.

– Лёля! Пора заняться делом! – это раздаётся голос обычно меланхоличной Елены Андреевны. Голос ее любимой мамочки, у которой прелестная головка, осененная густыми волосами, большие светлые глаза, длинная, аристократическая шея и жаркий нездоровый румянец на щеках. Лёля и сестра Вера, которая на четыре года ее моложе, маму почти не видят – в стороне от них она пишет романы. И девочки также не сидят сложа руки, у них много времени уходит на занятия.

По воспоминаниям Веры, они «каждый день аккуратно учились; особенно Лёля очень серьезно занималась с гувернанткой английским языком, а французским и еще многому другому – с Антонией; кроме того, к ней откуда-то приезжал три раза в неделю учитель музыки. Несмотря на много уроков, Лёля все-таки находила время шалить, такая уж она была проворная!».

Утром до завтрака Лёля увидела на наволочке маминой подушки бурые пятна. Мама была бледна и элегантна, в платье из клетчатой ткани с темным поясом. В первый раз у мамы пошла горлом кровь месяц назад, об этом шептались горничные, и она услышала. В последнее время кровь часто идет у нее из горла по утрам. На детей, на нее, Веру и еще крошечного брата Леонида, мама смотрит со страданием в глазах, как на будущих сирот. Хотя знает, что в нищету они не впадут, – не позволит мамина мама Елена Павловна.

Бабушка Лёли – урожденная княжна Долгорукова, а мамин папа, дедушка Андрей Михайлович Фадеев, – государственный человек, губернатор в Саратове. На папу, Петра Алексеевича Гана, как считает Лёля, надежд особых нет. Он живет кочевой и суматошной жизнью бедного артиллерийского офицера. Сегодня – здесь, завтра – там, а послезавтра – неизвестно где.

Его батарею часто переводят с места на место, все больше по глухим углам Екатеринославской и Киевской губерний. Приходится большей частью жить в избах. В каких только селах и деревушках они не останавливались! Особенно подолгу стояли в Романкове и Каменском. Перемещаются из одного провинциального захолустья в другое. Жизнь бродячая, неудобная, без духовного общения и требует немалых расходов, рассуждает про себя Лёля. Как еще только ее мама при такой жизни не опустилась, не превратилась в стервозную, полковую даму.

В жилах Лёли смешалась кровь многих народов, веками враждовавших друг с другом.

С неимоверной силой девочка переживает это слияние разных кровей, разрушающий эффект от которого в ней, как считают взрослые, в сто, нет, в тысячу раз больше, чем в других ее близких. Она и сама чувствует, особенно перед сном, как в ее жилах сталкиваются разнонаправленные потоки несходящихся времен, народов и характеров. Сливаясь в ней, они бурлят и пузырятся – кровавое тепло с резким аммиачным запахом серы и сладковатых отбросов заставляет ее зажать вспотевшей ладошкой нос. Она ощущает себя чаном, в котором потусторонние силы варят какое-то дьявольское снадобье, чтобы на ней же его и опробовать.

Разве что кровь деда-губернатора чуть-чуть разбавляет крепкий настой из множества прошедших до нее разных жизней. Да и то в этом, казалось бы, относительно спокойном и размеренном потоке вспыхивают и на мгновение ослепляют зарницы каких-то давних, отгремевших сражений и схваток. Сколько человеческой кровушки пролилось во времена Батыя, Крестовых походов и Варфоломеевской ночи!

И всякий раз двое из ее прашуров, он и она, обязательно выживали, сохраняли и продолжали род. Неумолимо двигались через завалы трупов, через немереные кладбища к ее времени, к ее появлению на свет. В судьбах именно этих удачливых, любвеобильных, смиренных и жестоких людей раскрываются глубины жизни и истины, понятные ей, их потомку, достойной наследнице знаменитых людей, и недоступные посторонним.

У нее свое, удивительное, ни на что не похожее будущее. Зря беспокоится и тревожится ее мать, которая предрекает старшей дочери горькую участь, считает, что в жизни ей суждено много страдать. Без страданий, между прочим, душа мертва. Так напутствует ее священник. Но отнюдь не он ее духовный отец. Он сам боится ее, маленькую девочку, как черт ладана. Непонятно только, где тут черт, а где – ладан. Ведь священник считает ее ясновидящей, одержимой бесом. При встречах с ней окропляет святой водой и читает какие-то молитвы-заклинания. До чего же деревенские священники невежественные и суеверные люди! Тогда уж намного приятней, думает она, находиться среди людей подлого звания: крестьян, дворовой челяди.

Самой судьбой она определена с какой-то заранее оговоренной целью в фантазмагорический мир, в котором благополучие и безопасность человека связываются со знанием примет и заговоров. Она помещена в ту питательную для народных верований и предрассудков среду, которая постоянно дразнит ее детское любопытство существованием незримой и нездешней волшебной силы и обитатели которой прививают ей веру в таинственное и неразгаданное. Как считают дворовые люди, девочке щедро перепало кое-что от этой «потусторонней» власти. Она иногда вглядывается в собеседника с такой напряженной внимательностью, уставясь в одну точку, что ее синие глаза вспыхивают и прожигают насквозь. Конечно же, считают крепостные няньки, их Лёлинька отмечена Провидением.

В самом деле, она обладает, как уверяет сестру Веру и знакомых детей, сверхъестественными способностями. Привидения, домовые, лешие словно открывают ей вход в мир поражающих воображение тайн. Недаром их образы не страшат ее, а, напротив, представляются завлекающими и желанными. Не с помощью ли нечистой силы она собирается завести знакомство с невидимыми и милыми существами, с той нежизнью, которой взрослые пугают детей: ведьмами, домовыми, кикиморами, русалками? Она с жаром рассказывала детям о судьбе того или иного животного, которое в виде чучела находилось в домашнем зоологическом музее бабушки Елены Павловны. Своей фантазией Лёля словно их оживляла – и статичные, омертвелые, когда-то убитые ради научного интереса создания многообразной природы, казалось, воскресали, и она, словно понимая их язык, с восторгом внимала рассказам о звериной или птичьей жизни. Что запоминала – передавала сестре Вере и тете Надежде, а также другим детям, с которыми проводила свободное время.

Тетя Надежда, ее подруга по детским играм и проказам, много-много лет спустя вспоминала о том невозвратном времени: «...ее необъяснимая, особенно в те дни – тяга к мертвым и в то же время страх перед этим, ее страстная любовь и любопытство ко всему непознанному и таинственному, жуткому и фантастическому; прежде всего ее стремление к независимости и свободе действий – стремление, которым никто и ничто не могло управлять, – все вместе, это, при ее неукротимом воображении и удивительной чувствительности, должно было дать ее друзьям понять, что она обладала исключительной натурой и что для того, чтобы общаться с ней и пытаться управлять ею, нужны были исключительные средства. Малейшее противоречие приводило к вспышке чувств, часто к припадку с конвульсиями. <...> Ее нянька, как, впрочем, и другие члены семьи, искренне верила, что в этом ребенке жили «семь бунтующих духов»».

Перед ней возникает длинная безобразная фигура мисс Августы Софии Джефферс, ее гувернантки, старой девы из Йоркшира. От ее мерных, заунывных восклицаний и причитаний некуда деться.

Да, она ведет себя как сорвиголова. Как настоящий невоспитанный мальчишка, который лазит по деревьям, обирает яблони и груши, совершает набеги на чужие огороды. Она пойдет дальше – устроит взрослым что-нибудь почище этих заунывных проказ. Например, стащит удочкой накладные волосы с лысой головы толстенького прожорливого капитана, который тайно влюблен, как она убеждена, в мисс Джефферс. И стащит именно в день их

свадьбы, в церкви, на виду у всего православного народа. Вот будет смех и скандал! Рассказывает сестре Вере и дворовым детям, что капитан этот обещал немедля жениться на мисс Джефферс, если она хотя бы один разочек на него пряменько взглянет. Это при ее-то косых глазах!

Она любит представляться хуже, чем есть на самом деле. Умеет устраивать душе-раздирающие сцены и оставаться неуязвимой среди раззадоренных и взбаламученных ею людей. Научилась отходить тут же в сторонку и смотреть как ни в чем не бывало, методично укладывая в своей просторной памяти друг за другом, ряд за рядом поленицу нелепых человеческих движений и оторопелых реакций; приводит их в своей голове с немецкой педантичностью в почти идеальный порядок. Ее пухлые ручки при этом подрагивают от предвкушения удовольствия: еще бы, она сотворила такую сногшибательную пакость! Ее ангельское личико покрывается матовой бледностью, только красные, слегка обветренные губки выдают ее кровожадность.

Все эти страсти-мордасти разыгрываются Лёлей с одной неосознанной целью – избавиться от неотвязной скуки. Скука выслеживает, исподтишка наносит удар за ударом, стоит девочке на мгновение остановиться и начать зевать. Она не может угадать, какая шалость окончательно доконает скуку, какую затеять с ней игру, в ходе которой преобразится до неузнаваемости ее, как у кучера Данилы, постное, скособоченное лицо с вывороченными скулами. Звонким ударом пощечины Лёля выведет скуку из оцепенения, вызовет какое-то ответное движение с ее стороны, и застылое, непроницаемое лицо наконец-то зашкворчит, как раскаленная сковородка с брошенными на нее ломтиками сала.

Жизнь подарила ей нескончаемую скуку как участницу в играх и игрищах. Играть придется, по-видимому, до самой смерти, азартно и ва-банк, а проигрывать как можно реже. Нельзя также забывать и о том, что скука легко и незаметно переходит в уныние, а тогда – пиши пропало! Уныние – это безысходность в квадрате, позорная капитуляция перед неблагоприятными обстоятельствами жизни. Чем дьявол внешне отличается от Христа? Своим унылым и кислым видом – вот чем! Даже отчаяние взрывает человека изнутри, подвигает его на сопротивление обволакивающей пустоте. Человек сопротивляется либо истеричным и натужным весельем, либо нестерпимой и пронзительной болью. В этом случае важен результат – сохранение самого себя.

Иногда ей казалось, что спонтанно возникающие в ее сознании картины прошлого и будущего что-то вроде фата-морганы и достаточно будет незначительной перемены в душевной атмосфере, как этот мираж тут же исчезнет. Ведь время, как лишай, постепенно и неумолимо, съедает древо жизни – остается жалкий и трогательный в своей беззащитности оглодок.

Все ее предки, которых девочке ставят в пример, были отчаянные игроки. Некоторые достигли известности, а один из них объявлен святым. Она читала о нем в Четьях-минях. Это черниговский князь Михаил, родоначальник князей Долгоруковых. Его нательный крест до сих пор хранится у ее бабушки Елены Павловны, урожденной Долгоруковой. Крест большой, серебряный, позлащенный, с резным изображением святых угодников. И до днешнего дни, как говорили в старину, была бы Лёля в полном неведении относительно того, что предшествовало казни князя Михаила в Орде 20 сентября 1246 года, если не жила бы воображением. У нее лет до четырнадцати никогда не было особого уважения ко времени и месту, в которых что-то случалось. Для нее более существенным было знать, с кем именно и почему это могло произойти и какие будут последствия. Фантазия употреблялась ею в качестве хорошей подзорной трубы, с помощью которой она обозревала события далекого прошлого и ее участников.

Может быть, с князя Михаила и началось материальное оскудение их рода. И одновременно обозначилось духовное восхождение. Известно же, что князь Михаил пекся о сирых

и убогих, с юных лет относился к ним с кротостью и милосердием. Потом уже, спустя много столетий, потомки князя приумножат и разделят оставшиеся сокровища для того, чтобы их отобрали завистливые, корыстные и злые люди, а кто спасется – сами промотают их враздробь и с необыкновенной быстротой.

Любостязания в Долгоруковых нет, ни капельки, и слава богу!

Наибольшим гонениям Долгоруковы подверглись при императрице Анне Иоанновне. Некоторые из них, как князь Сергей Григорьевич был казнен в Новгороде вместе с другими Долгоруковыми. Он владел многочисленными имениями, населенными крепостными крестьянами, число которых простиралось до двухсот тысяч. Имения с крепостными были конфискованы и безвозвратно отписаны на Анну Иоанновну.

– Лоло! Барышня! Срам-то какой! – кричит мисс Августа София Джефферс. Кричит она, разумеется, по-английски, переиначив «Лёлю» на английский лад в «Лоло». Англизированное имя назойливо впихивается в ушную раковину твердыми иноземными «эль» – такие в нем недружелюбие и агрессивность. Никакая она вовсе не Лоло, а Елена Прекрасная, ее заморозил игрою на лире Парис и украл у дурака-мужа. Из-за нее началась война, она теперь во вражеском стане, который ей милей родного дома. У нее ярко-синие глаза и белоснежная кожа с голубоватым подтоном.

Но вот громыкает в ушах это ненавистное «Лоло». Уши напрягаются, и она чувствует, холодея от страха, как они встают торчком, словно у зайца, загнанного под куст. Уж лучше называла бы ее веселым, бесшабашным «О-ля-ля» эта противная, разноглазая гувернантка. Один глаз у нее белесый, будто ошпаренный кипятком, а другой – черный, разбойничий, и глядит он куда-то вкось и чуть-чуть вниз, еще немного – и упрется в основание мощного носа. И явится тогда на свет неведомое существо: носоглаз. Новое для них, обыкновенных людей. А так-то оно издавна известно среди болотной нежити и наконец нашло пристанище на лице мисс Джефферс.

Вот сейчас появится молодая институтка Антония Христиановна Кюльвейн, замечательно образованная девушка с удивительной и трагической судьбой. Правда, она находится здесь не как гувернантка, а как мамина компаньонка. Занимается она с Лёлей и ее сестрой Верой по доброй воле, из уважения к их маме, а не за плату. Она намного мягче выскажет то же самое недовольство взрослых, но только по-французски.

Весь сыр-бор разгорелся из-за Лёлиного желания немного прокатиться верхом.

Офицер из полка отца галантно предложил ей, как взрослой, сесть в седло. Она сдержанно его поблагодарила и уже было собиралась прибегнуть к его помощи, как вдруг развопилась эта мерзкая англичанка.

Как ей хочется вскочить одним махом на лошадь с тонкой мордой, припасть губами к гриве, прищипорить ладные лоснящиеся бока, с ходу пустить ее вскачь, галопом – аллюром два креста! Она уже представила себе, как она, великолепная амазонка, с развевающимися светло-золотистыми волосами, несется мимо отца, мамы и солдат на плацу. Ее сопровождают два молодых офицера, писанных красавца, в ярко-желтых крагах и со страусовыми перьями на киверах. Они скачут с ней почти вровень, лишь чуть-чуть, на полметра, поотстав, – надо же им как-то выразить свое восхищение ее юной прелестью и рыцарскую преданность.

Лёля заметила этих блестящих молодых людей еще на балу в Саратове, в губернаторском доме дедушки. Они приезжали туда с ее отцом, в то время капитаном, Петром Алексеевичем Ганом. Тогда она, десятилетняя, самозабвенно танцевала, как взрослая барышня, с князем Сергеем. Несмотря на свое малолетство, танцевала весело и страстно. Танцам, словно шутя, ее научила Антония, которая вела себя с ней как ребенок, не намного ее старше. Тогда Лёля всех, кажется, поразила, все сочли ее умной и забавной.

Она танцевала, как танцуют взрослые девушки, – до изнеможения, до упаду, до экстаза. И дух Божий, дух мудрости и красоты, нисходил на нее.

Они оказались в военном лагере папы в Малороссии под хутором Диканька недавно. Мама привезла их всех: ее, сестру Веру, грудного Леонида – из дедушкиного дома в Саратове, где они жили широко и богато в трех губернаторских домах, настоящих дворцах, одном зимнем – в самом Саратове, и двух летних, так называемых дачах, – у самого леса, за городом. Все дома были солидными, один больше другого. Ехали они к папе из Саратова в Малороссию в двух экипажах: в карете и тарантасе, сопровождаемые мисс Джефферс, Антонией Кюльвейн, доктором, горничными Аннушкой и Машей, поваром Аксентием.

По приезде их семья поселилась в хорошем деревянном доме в несколько комнат, просторных и светлых. Лёля спала рядом с мисс Джефферс, которую недолюбливала. Ее сестра Вера жила в одной комнате с грудным Леонидом и Антонией Кюльвейн. А у родителей была угловая комната. Одну ее часть занимала спальня, а другую – мамин кабинет, в котором мама проводила целые дни и вечера за работой. По сравнению с их скромной жизнью в украинской деревне проживание у дедушки и бабушки в Саратове могло показаться неслыханно роскошным. Для Лёли обстановка жилища кое-что значила. Однако для нее куда важнее было общение с людьми, обитателями этих жилищ. Поэтому военный бивуак, который был разбит неподалеку от хутора, где они остановились, ее притягивал к себе столь же сильно, как и те странные люди, с которыми она познакомилась, живя в трех дедушкиных домах в Саратове и за городом.

– Лёля! Что за блажь! Выбрось эту мысль из головы! – на этот раз раздается голос мамы, обычно меланхоличной Елены Андреевны.

– Посмотрите, как несется в Киев князь Михаил. Его конь в пене, на последнем издыхании! – истошно кричит она оторопевшим гувернанткам и маме, раскрывшей от удивления рот. – Я отдам ему свою лошадь. Князь не опоздает к штурму, он вовремя появится среди дружинников и отобьет от татар город. Ну что же вы!

Ее голос срывается, она почти в истерике. Врут летописи. Князь Михаил не праздновал труса, не сбежал из осажденного города. Он просто не успел к моменту, не добрался, не доскакал. Как удар кулаком по столу от горькой досады, от безнадежности, он убивает Батыевых послов и не с повинной едет к хану, а затем чтобы спасти от его гнева своих людей! Труссы не совершают духовных подвигов. На верную страшную смерть обрекают себя князь Михаил и его боярин Федор, когда отказываются поклониться Батыевым идолам. Они не пройдут, как того требует басурманский обычай, меж огней, не осквернят свои уста восхвалениями хана. Они не захотят чтить срамные уды и возлагать им требы. Вот в чем величие настоящих людей: в любых обстоятельствах они остаются свободными, ничем не омрачают совесть, не позорят свой род. Не загоняют себя в клетку унижительного подчинения. Лучше смерть, чем существование во лжи и рабстве. Не всякие так могут поступать.

Это и есть пролить кровь за Христа. Кровью, телом чувствовать Христову правду – как это все-таки трудно.

Она с ними, с князем Михаилом и боярином Федором, до последнего. И над ней взметнутся огненные столпы, и ее душу приподнимут над землей громовые распевы ангельского хора.

Как все со времен князя Михаила переменилось! Она это тоже чувствует своим детским сердцем. Везде хищники, грабители, взяточники. За медный грош отца с матерью удавят. Вот папа говорит, что столько вокруг мстительных людей. А вздорных и злоязычных – еще больше! А подлипалам и блюдолизам – вовсе несть числа! На то и Расея! Мама убеждена, что в просвещении – одно лишь спасение.

Лёля исполняла свои ученические обязанности в точности, основательно. Поразительные успехи были достигнуты ею в изучении иностранных языков и особенно в музыкальных занятиях. Без устали разучивать положенные экзерсисы и окончательно не впасть в безразличие и скуку – для такого усердия необходима не только обычная усидчивость, а нечто большее: вдохновение. Она-то знала, как заворожить свои быстро устающие пальчики, вдохнуть в них, неуверенных и ленивых, силу и упорство. Она бралась за каждое новое дело с усердием, вовсе не желая себя уронить в глазах мисс Джефферс и Антонии.

Сестра Вера через много лет вспоминала: «Лёля, которой удивительно легко давались языки, сама вызвалась учиться по-немецки и начала три раза в неделю аккуратно заниматься с Антонией. К осени она уже много понимала и читала совершенно свободно. Папа хвалил ее и в шутку назвал ее однажды «достойной наследницей своих славных предков, германских рыцарей Ган-Ган фон дер Ротер Ган, не знавших никогда другого языка, кроме немецкого»».

Офицеры весело переглядываются, слыша взвизгивание и оханье мисс Джефферс и Антонии. Они определенно на стороне Лёли, но не решаются идти против воли ее мамы. Во всяком случае, Лёля для них почти родная, они ее называют между собой «дочь полка». Солдаты тоже оказывают ей внимание и слегка подыгрывают. У них она научилась называть вещи своими именами и у них же набралась крепких словечек и забористых выражений, которыми будет много лет спустя козырять, шокируя и удивляя своих высокородных соотечественников и соотечественниц за пределами России.

Ни для кого из сослуживцев отца, однако, не составляет тайны, что они с Верой вот-вот станут сиротками. От этой мысли сжимается сердце, но при маме она сдерживается, гонит прочь глубокое и непрерывное самоощущение своего одиночества. Лёля ежедневно по многу раз молится Боженьке, просит его заступиться за маму и не дать ей скоро умереть. Она и говорить стала еще меньше и тише, а все из опасения, чтобы опять не дать волю своей буйной фантазии. Она сострадательная и любящая дочь. Однако же как задевают ее самолюбие, когда при всех запрещают сесть на обьеженную и спокойную лошадь! Неужели мама этого не понимает, не хочет понять?

Ее мама обыкновенно носит шейный платок, он переkreщается на груди и придает ей романтический вид. Маме очень идет простое марселиновое темное платье без кринолина, которое она, к сожалению, надевает чрезвычайно редко. Вообще мама не любит пышности в одежде и радуется переменам в моде. Ей не хочется быть раздавленной обширными вертюгadenaми с тяжелыми накладками, с фижмами и шлейфами. Папа по дому ходит в пикейном жилете и полосатых брюках. Мундир ему, кстати, больше к лицу.

На плац въезжает запряженная цугом карета. Видать, приехал какой-то царский сановник. Вот сейчас спрыгнут с подножек ливрейные лакеи – где же они? – откроется дверца и покажется важный господин в светло-синем двубортном фраке с золотыми пуговицами и стоячим бархатным воротником. На ногах у него будут черные шелковые чулки и башмаки с пряжками. Он очень похож на разноцветную бабочку из коллекции ее бабушки. Неужели это бабушкин отец – князь Павел Васильевич Долгоруков?

Однако же он умер в 1837 году. Может быть, это его воплотившийся дух?

К ее большому разочарованию, из кареты вылезает тучный генерал. Вероятно, он приехал из Петербурга, и у него важное поручение от государя.

Офицеры, а с ними и ее отец как-то неожиданно для окружающих стремительно перемещаются от лошади ближе к карете. Как досадно – ее и сестру Веру взрослые торопливо уводят с плаца.

Она опять, в который раз, оказалась между постылой повседневностью и своими досужими домыслами – веселыми, хитрыми развлечениями ее ума и сердца.

Глава вторая

Страшное открытие

Как взрослые к ней несправедливы! Им нет дела до ее чувств, они не оценят ни ее самоотверженной натуры, ни душевных порывов, ни наивной веры в свое предназначение стать великой актрисой – всего того, что составляет смысл юной жизни. А то, что она ощущает в себе какие-то удивительные силы видеть и слышать, что другие не видят и не слышат, кажется им болезненным состоянием духа. Они считают, что ее странный дар не в пользу ни ей, ни людям.

Они вообще ее во всем ограничивают, урезают и малые свободы. Ей не с кем бывает поговорить по душам. Сестра Вера еще мала, недавно ей исполнилось шесть лет. При всяком удобном случае мисс Джефферс терзает ее бесконечными претензиями, порицает за то, что она слишком избалована. Не хочет понять, что ее проделки – всего лишь невинные и безобидные чудачества, не делающие никого несчастными. Своими нотациями они совсем выбила ее из колеи.

Вот и сейчас Лёле не спится.

Стук падающих яблок влажен среди вечерней духоты. Сумерки быстро сгущаются. Распаренный воздух заполняется приглушенными, хлюпающими звуками южнорусской ночи. Девочка близоруко всматривается в ставшее вдруг темным небо, и звезды расплываются на нем, как томатные пятна на грязной скатерти.

Луна появляется на небе как полновластная хозяйка.

Лёля боится перехода из полудремы в глубокий сон, ей не хочется опять оказаться на привязи у лунного света. Приступы сомнамбулизма случаются с ней не часто, но всякий раз они изнуряют ее и основательно пугают взрослых.

Она берет первую попавшуюся на глаза книгу и, прочитав несколько строк, не может от нее оторваться. Ее потрясает незамысловатая ужасная история жизни первой русской чревовещательницы, одиннадцатилетней Ирины Ивановой, крепостной боярского сына Мещеринова. Девочка жила в Томске, в петровское время. Ее странный дар говорить, не открывая рта, голосами разных людей был воспринят тогда как дьявольское наваждение.

Она представила забытый Богом Томск. Сибирское захолустье с долгими зимами и крепкими морозами. Город, заваленный до самых крыш снегом. В таком городе не живут в полном смысле этого слова – прозябают, влачат жалкое существование. Жизнь медленная, скучная и заполняется обыкновенными повседневными делами, среди которых отсутствует тайна. По этой негибнущей канве постылого жизненного уклада ткутся человеческие судьбы.

Все тайное в Томске невозможно. Любая тайна с государственной точки зрения вообще сомнительна. В ней содержится намек на возможность иного жизненного выбора, отличного от того, которому следуют большинство людей.

Талантливые, эмоциональные натуры от такой рабской жизни накладывают на себя руки, спиваются с круга, уходят в скиты или творят чудеса – как девка Ирина.

Вот почему тогдашний воевода Томска, в полной мере осознавший всю важность случившегося, вместе со своими подьячими немедленно приступил к освидетельствованию Ирины и дознанию.

– Кто ты такой? – спросил один из подьячих. Он обратился к девочке, как к мужчине, потому что говорила она утробным, грубым голосом. Ирина между тем вошла во вкус игры и ответила так, как ей говорить не следовало бы:

– Лукавый. Зовут меня Иваном Григорьевым Мещериновым, рожусь я завтра, а посажен в утробу Ирины с похмелья девкою Василисою.

Излишне говорить, что все присутствующие от такого ответа остолбенели.

Можно представить, какой они составили отчет и какое пошло донесение в Санкт-Петербург, прямо в Тайную канцелярию.

Пока суть да дело, Ирину заточили в Рождественский женский монастырь, сдали ее игуменье и нарядили к ней караул.

В монастыре девочка не угомонилась. Она была еще ребенком. Случайно обнаружив в себе дар чревоутождения, она не на шутку расшалилась. Исключительно для потехи, пользуясь своим странным даром, она устроила в монастыре настоящий переполох, рассорила между собой многих монахинь.

Зимой произошло и вовсе из ряда вон выходящее событие.

Один из приставленных к Ирине караульных, казак Перевошиков, засвидетельствовал, что дьявол прямо из Ириной утробы обзывал его всяческими непотребными словами, а затем выразил желание переселиться куда-нибудь в другое место.

– Куда ты идешь? – спросила дьявола мать-игуменья.

И дьявол простодушно ответил:

– В воду.

Дьявол велел открыть настежь все двери, что и было тотчас исполнено. Тут изо рта Ирины показалась пена и повалил черный дым, который через дверь вытек на улицу и растаял в морозном воздухе. С этого мгновения в утробе девочки не стало слышно голоса дьявола. Так рассказывал, волнуясь и жестикулируя, казак Перевошиков. Его показания были также приобщены к делу и направлены срочным порядком в Тайную канцелярию, вслед за первым донесением.

Дальнейшие события приняли совсем серьезный оборот. Из Тайной канцелярии, наконец, пришел приказ: допросить всех обо всем доложенном казаком накрепко и с пристрастием.

Одиннадцатилетнюю Ирину, как взрослую, вздернули на дыбу и били розгами до тех пор, пока девочка не созналась в обмане.

На этом месте книги она остановилась. Читать дальше не было сил. Описание пытки дыбой, обычный пример средневекового бесчеловечья, внушало ей непреодолимый ужас. Истязание Ирины, которая была всего лишь на год ее старше, показалось не только бессмысленным и жестоким действием, но и впечатляющим свидетельством какого-то всеобщего умопомрачения.

Игра со взрослыми закончилась плачевно. Взрослые повели себя как злобные и мстительные бесы. Пылкая, простодушная юность предстала иллюзорной защитой от угрюмой и несуразной жизни. Этот удар поразил ее как молния с неба. Подобно Иову, она потеряла в этом мире все дорогое для себя. То, что, казалось бы, охранялось изначальной мудростью взрослых людей.

Она заставила себя прочесть страшный документ Петровской эпохи – решение государственных мужей по поводу дальнейшей судьбы несчастной девочки.

Тайная канцелярия постановила: «Девку Ирину за ложный вымысел дьявола, в чем она в застенке с подъему и битья розгами винулась, что об оном и всем затеяла она вымысел от себя ложно, хотя она и несовершеннолетняя, учинить наказание: бить ее кнутом и, вырезав похоти, сослать в Охотский острог и определить ее в работу вечно по рассмотрению тамошнего командира». Она смутно догадывалась, что имеется в виду под словом «похоти».

Она вдруг перегнулась пополам – такая невыносимая, скребущая боль неожиданно свела низ живота. Она почувствовала, что не Ирину, а ее, Лёлю, подвергают унижительной

казни. Ощутила прикосновение к своему телу страшной железной челюсти, палаческих клещей, влезавших в самое ее нутро и вырывающих куски мяса.

Она не закричала лишь потому, что ощутила как бы успокаивающее веяние крыл какой-то лично ее касающейся тайны. Она подошла к той черте, за которой открывалась великая правда ее происхождения.

Она поняла прежде всего, что у людей, которые так по-палачески жестоко обошлись с глупой и самонадеянной девочкой, не может быть любви к Богу.

Она осознала, что мир взрослых – порочен, скуден и несправедлив. Он угрожает каждому, кто не вписывается в его жесткие рамки, кто не вмещается в изъезженную колею. Этот внешний ханжеский мир следует заменить миром внутренним, напряженной жизнью души.

Она открыла для самой себя, что в ней живет душа замученной Ирины. Эта душа избрала своим сосудом ее тело. Следовательно, она ведет свою родословную не от русских князей и немецких рыцарей и баронов, а от этой безвестной, крепостной девочки. Девочка, в свою очередь, фантазировала она, происходит от египетских колдунов, жрецов фараона.

Раскрыв тайну своего происхождения, она вплотную подошла к границе, за которой находились другие тайны, вызывающие мистический трепет и страх узнавания. Она пересилит в себе робость и предрассудки. Не распластается перед авторитетами. Штурмом возьмет тайны человечества. Умом своим возьмет, скепсисом, знанием.

Она шагнула в необъятное и непостижимое пространство независимого духа. В студеные снега отстраненной умозрительности. В непролазные дебри неотразимых парадоксов и неразрешимых конфликтов.

Она уже не принадлежала себе. Ей было не десять лет, а несколько тысячелетий.

Лунный свет рельефно вычертил ее силуэт на стене комнаты, заарканил, прочно привязал к необозримому Космосу. Она действует под влиянием луны. Вот почему ее поступки невозможно оценить с точки зрения обычной земной морали. Вопрос в другом. Найдет ли она в себе силу отказаться от живой любви во имя грез и сновидений? Давно не молилась Леля в детской перед иконой с теплящейся лампадой. За здоровье мамы она молится, засыпая, молча, про себя, уткнувшись лицом в подушку. Лик Божий ее смущает чем-то. В душе образовалась ужасная незаметная трещинка.

Во время ее крещения, как рассказывают ее близкие, произошел случай, который можно трактовать как некий провидческий знак. Церемония крещения в церкви затянулась, и тетя Елены (тетя-ребенок, всего-то на три года старше своей племянницы) Надя Фадеева то ли по небрежности, то ли по малолетству нечаянно подожгла зажженной свечой край рясы священника. Случай с ее крещением не раз обсуждался в их доме. Почему взрослые люди такое большое значение придают всяким приметам и предзнаменованиям?

Кажется, Лёля поняла смысл того, что с ней тогда произошло.

Природа своей неоспоримой властью установила для человека известные пределы и ограды. Вот отчего дурные знаки – не более чем предупреждения природы, ее советы. Их смысл – отвлечь человека от вхождения в заповедные области многообразной жизни, не позволить ему выходить за поставленные границы.

Она не имеет других намерений, как только следовать своей интуиции. И делает это с робкой надеждой не превращать свою жизнь в игрушку случая, в заложницу обстоятельств.

Лунный свет окончательно околдовывает Лёлю. Она касается пола босыми ступнями, подбирает край ночной рубашки – и вот уже выпорхнула, как ночная бабочка, из детской на темную крышу дома и очутилась в бельведере. Из этой круглой башенки она, не мигая, всматривается в звездное небо, словно пытается разгадать, что сулит величественная, незнакомая, светозарная жизнь.

Сквозь дрему Леля слышит хриплое откашливание ворон.

Елена Андреевна родила Лелю недоношенной в Екатеринославе в ночь на 12 августа 1831 года (по старому стилю с 30 на 31 июля 1831 года) в час и сорок две минуты. Перед этим событием она чуть было не заболела холерой. В доме Фадеевых от холеры умерло несколько человек прислуги. Что никто из их семьи не ушел на тот свет – настоящее чудо.

Блаватская не раз задумывалась о месте и времени своего рождения.

Она представила холерный 1830 год. Эпидемия пришла из Астрахани. Ее привезли люди, передвигающиеся в безрессорных тарантасах, на почтовых. Лошади шли медленно, только шагом, то и дело увязая по колена в глубоком песке. Распространяясь по Волге, холера без всяких помех, с тупой и неторопливой последовательностью захватывала города и веси, сокрушала их растерявшихся и беспомощных жителей. Дошла она и до днепровских берегов. Ужас неотвратимой смерти стоял в душном, наполненном густой мглой, гарью и смрадом воздухе. Отец бежал от сына, сын от отца.

Семья Фадеевых чудом выжила.

Итак, ее рождение связано с женщиной, чуть было не побывавшей на том свете. Кровная связь с мамой приобретала новые, неожиданные смыслы. Она представила мать в холерном бараке: ее синие пальцы, запавшие глаза, заострившийся нос. Может быть, только обильный пот, выступивший по всему маминому телу, был добрым знаком того, что мама выживет. Напрасно она пыталась преодолеть в своем воображении образ умирающей женщины, у которой язык, высохший, с бледно-зелеными разводами, западал в гортань, а из рта дурно пахло желчью. Ничего не получалось.

Наконец-то она страхнула с себя это наваждение и обреченно поняла, как страшно родиться в холерный год. В то время, когда торжествует и нагнетает смерть, а жизнь себя не выпячивает. В ее появлении на свет при таких обстоятельствах, кто-то был, по-видимому, заинтересован. Она искала точку опоры в нахлынувших на нее мыслях. Ей необходимо было за что-то зацепиться, чтобы окончательно не пасть духом, не сойти с ума. Теперь ее не волновало, что будет с сестрой Верой и братом Леонидом. В конце концов, и не до мамы ей было, как ни постыдно в этом признаться. В ней существовало только одно всепоглощающее желание. Она пыталась понять, что означает ее рождение в Екатеринославе в холерный год, когда вокруг нее, крохотной и беззащитной, громоздились горы мертвецов. Она вся, до появления шершавых пупырышек на коже, устремилась в то время.

И услышала ответ, какой ожидала. Этот ответ ей выкаркала черная птица огромной величины, не к добру залетевшая в Екатеринослав. В разгар эпидемии, в конце 1830 года, она парила над крышами домов и поражала смертельной болезнью тех, кого осеняла крылами. На воротах, дверях и окнах домов, чтобы отогнать птицу смерти, это порождение нечистой силы, были начертаны кресты, а на стенах написано: «Христос с нами устави́ся».

Страшное безлюдье царило в городе. Редкие прохожие с замотанными тряпками лицами, выпачканные дегтем и пахнущие чесноком, бродили по улицам как тени.

Ежедневно целые обозы с гробами тянулись на кладбища. Среди жертв холеры оказалась и маленькая девочка со спутанными кудряшками русых волос и восковым кукольным личиком. Она послушно лежала в узком гробике с виноватой улыбкой на побелевших губах. Ее внезапная смерть от холеры опять оставила беспризорной душу Ирины-чревоушательницы, ибо душа эта жила в теле той неизвестной девочки.

Вот и ответ. Родившаяся вскорости после смерти неизвестной девочки Лёля была обречена судьбой дать душе Ирины новый приют.

Какая она все же умница! Смогла разобраться, что выкаркивала ей, кружа над домом, огромная птица с перьями, забрызганными бурой запекшейся кровью.

Каким-то образом она выведала у птицы еще одну тайну: Екатеринослав и Одесса для ее мамы и нее самой – определенно проклятое пространство – им там было бы лучше не появляться.

Конечно же, она не собиралась принять безусловно на веру, что ей наплела непонятно откуда взявшаяся мрачная птица. Вместе с тем против одного невозможно было возразить: маминым успехам и удачам сопутствовали не Екатеринослав и не Одесса, тем более, а столичный град Санкт-Петербург. Екатеринослав и Одесса не прошли, однако, даром в будущей жизни Елены Петровны Блаватской: они научили не предаваться унынию и страданию при всяком горестном случае.

Глава третья

Дед и бабушка Фадеевы

Екатеринослав, южнороссийский город на берегу Днепра, по словам одного заезжего иностранца, представлял собой отчасти незаконченную новостройку, отчасти старинное поселение со следами бывшего величия. Изначально задуманный Екатериной Великой как ее летняя резиденция, он недолго просуществовал в этом качестве. Императрица предпочла после некоторых раздумий место неподалеку от Санкт-Петербурга – Царское Село. Между тем ее фаворит Григорий Потемкин выстроил для нее в Екатеринославе роскошный и величественный дворец, какого еще не видела Россия, проложил широкие бульвары с цветниками, а на скалистых днепровских берегах разбил великолепный парк. Город предполагали построить огромный, рассчитанный, по крайней мере, на миллион жителей. Ко времени приезда семьи Фадеевых в Екатеринослав дворец лежал в руинах, а Днепр был судоходен всего лишь шесть недель в году, во время весеннего паводка.

Екатеринослав ко времени приезда в него семьи Андрея Михайловича Фадеева был типичным российским провинциальным городом. В такой город попадают только по необходимости, или по делам службы, или по семейным обстоятельствам, или по болезненному положению, но никогда не оказываются в нем по доброй воле.

Андрей Михайлович Фадеев был направлен в Екатеринослав чиновником в Департамент иностранных поселенцев и прослужил в этом городе на разных должностях, начиная с 1815 года, почти двадцать лет. В 1817 году он стал управляющим конторой иностранных переселенцев.

Елену Андреевну воспитывала ее мать, бабушка Лёли, Елена Павловна, урожденная княжна Долгорукова. В ее роду были такие известные в России люди, как князья Ромодановские и выкрест барон Петр Павлович Шафиров, сподвижник Петра Великого, вице-канцлер и управляющий почтами, обвиненный в 1723 году в казнокрадстве и два года проведенный в ссылке.

В двадцать пять лет княжна Елена Павловна Долгорукова против родительской воли вышла замуж за Андрея Михайловича Фадеева, который был двумя годами ее моложе. Дед Блаватской со стороны матери родился 31 декабря 1789 года в городе Ямбурге Петербургской губернии, там тогда квартировал полк, где служил его отец.

Для брака Елены Павловны и Андрея Михайловича существовало препятствие, которое молодые отважно преодолели, – жених был из «неродовитых дворян», к тому же гол как сокол. Потому-то и отец княжны Елены, и воспитывающая ее бабушка наотрез отказались дать родительское благословение. Жених между тем был вовсе не из захудалого рода, а некоторые его предки отличились в сражениях, отдали жизнь за Россию. Так, прадед Андрея Михайловича Петр Михайлович Фадеев, капитан армии Петра Великого, сложил голову в битве под Полтавой, а дед Илья Петрович скончался от ран, полученных в Русско-турецкой войне в конце царствования Анны Иоанновны. Отец Андрея Михайловича Фадеева, деда Блаватской, служил в Псковском драгунском полку, а впоследствии, после отставки, перешел на гражданскую службу. Его мать, также дворянка, была родом из Лифляндии, урожденная фон Краузе, добрая и заботящаяся о муже и детях женщина. Семья Андрея Михайловича была многодетной – восемь сыновей и две дочери. Все его братья пошли по стопам отца, поскольку военная служба для дворян считалась почти обязательной. Андрей Михайлович, впрочем, составил исключение и по обычаю того времени в двенадцать лет был зачислен на гражданскую службу. Его отец управлял Огинским каналом в Минской губернии, куда и поступил служить молодой человек. В семнадцать лет он уже достиг чина титулярного советника.

Началась война 1812 года, и весь штат управления каналом был переведен в Киев. Познакомились молодые люди еще раньше – в Ржищеве, имении бабушки Елены Павловны. В Киеве их знакомство получило продолжение. Умная, разносторонне образованная княжна Елена Долгорукова была действительно необыкновенной девушкой. Они полюбили друг друга. Андрею Михайловичу тогда исполнилось двадцать три года.

При скромном жалованье у жениха были хорошие служебные перспективы. Его будущий тесть князь Павел Васильевич Долгоруков сам тогда находился в стесненных обстоятельствах по причине расстройства своего состояния и жил на одну пенсию. Учитывая возраст князя, у него вообще не было никаких надежд улучшить свое положение. Рассчитывать на карточный выигрыш не приходилось – потерял бы последнее. Ему почему-то не везло не только в любви, но и в картах. И все-таки он вместе со своей тещей упрямо стоял на своем, и согласия на брак молодые так и не получили. Обойдясь без родительского благословения, они повенчались в феврале 1813 году, имея в кармане жениха всего сто рублей ассигнациями. В следующем году на свет появилась мать Елены Петровны Блаватской – Елена Андреевна. Спустя некоторое время после ее рождения молодая семья переехала в Екатеринослав, где Елена Павловна родила трех младших детей – Катю в 1821 году, Ростислава в 1824 году и Надю в 1827 году.

Бабушка Блаватской, Елена Павловна Фадеева, знала пять иностранных языков, прекрасно рисовала и, будучи художницей, интересовалась преимущественно чешуекрылыми, а проще говоря – бабочками, а также растениями и минералами.

С ней находились в переписке многие естествоиспытатели. Среди них Стевен, академик Бэр и профессор Дерптского университета Г. В. Абих, который был избран в Российскую академию наук в 1853 году за научные труды по описанию Кавказского края. Бабушку Елены Петровны ценили Карелин и Вернель. А Гомер де Гель в своих работах упоминает о ней как о замечательной ученой женщине, немало способствовавшей ему в его научных разысканиях. Президент Лондонского географического общества сэр Родерик Мурчисон, приехав в Россию, встречался с Еленой Павловной Фадеевой в Саратове и назвал в ее честь одну из ископаемых раковин.

Популярности на Западе выдающейся русской женщины-аристократки, безусловно, способствовала высокая оценка ее интеллектуальных возможностей со стороны известной английской путешественницы леди Стенхоуп. Эта экзальтированная и любознательная дама встретила с Еленой Павловной в том же Саратове и была немало удивлена тем, что подобные высокообразованные женщины встречаются в столь варварской стране, как Россия. Естественно, своим открытием она поделилась с английскими читателями в очередной книге.

Со всей своей ученостью, интересом к естествознанию, любовью к чтению серьезных философских книг, ярко выраженными способностями к рисованию и музицированию Елена Павловна Фадеева была вместе с тем, в сущности, обычной русской дворянкой из обедневшего княжеского рода. Для нее дом и семья всегда находились на первом месте. Она любила стряпать и рукодельничать. Ее внучка Вера вспоминала: «Кроме всяких вышиваний, вязаний, плетений бабушка умела делать множество интересных работ. Она делала цветы из атласа, бархата и разных материй. Она клеила из картона, раковин, цветной и золотой бумаги, из битых зеркальных стекол, из бус и пестрых семечек такие чудные вещи, что чудо!»

При всех глубоких и разносторонних познаниях в науке и присущей ей домовитости Елена Павловна вовсе не чуждалась светских удовольствий. Ее муж шел по служебной лестнице не быстро, но и не медленно и со временем сделался гражданским губернатором в Саратове. Она любила чистокровных английских лошадей, крытые лаком экипажи, давала балы и званые обеды.

За что бы Елена Павловна ни бралась, она старалась сохранять хороший вкус и достойный положения просвещенной губернаторши уровень.

Атмосферу дворянских празднеств того времени, происходивших в Саратове, детально и красочно описала мать Блаватской в своей повести «Идеал»:

«Дом дворянского собрания был великолепно освещен; плошки на воротах, плошки у подъезда; кареты, коляски, брички, сани везли целые грузы бабушек, маменек, дочек, внушек; собрание было блистательное. Два жандарма, стоявшие у крыльца, не успевали отгонять опорожненных экипажей. Канцелярские страживали снег с своих шинелей, артиллеристы, смотря с улыбкой презрения на этих фрачников, гордо расправляли усы и всклокоченные волосы. Но то ли еще было в зале! Четыре люстры величаво спускались с потолка; вдоль стен расставлены были диваны, покрытые оранжевым ситцем с зелеными узорами, а на передней части залы под огромным зеркалом стояли два кунсовые кресла. На хорах тринадцать человек музыкантов сидели в ожидании входа губернатора с поднятыми смычками, готовясь огласить залу при его вступлении полонезом из «Русалки». Диваны были уже заняты дамами всех возрастов и чинов; статские смиренно расхаживали по зале с круглыми шляпами в руках; кавалеристы с нетерпением бряцали шпорами; старики умильно кружились подле расставленных карточных столов, но никто не начинал ни танцевать, ни играть. Общество походило на огромного истукана, для которого душа не была еще ассигнована. Кое-где мужчина, проходя за диванами, останавливался позади девицы и, наклонясь, шептал ей, вероятно, что-нибудь очень приятное, потому что улыбка вдруг расцветала на устах девушки и, глядя на нее, маменька самодовольно поправляла свой чепец».

Пригласительные билеты на бал или званый обед бабушка Блаватской Елена Павловна давала распоряжение печатать на роскошной веленовой бумаге. А в исключительных случаях – на пергаменте.

Столы были уставлены серебряной посудой. Наряду с русской кухней присутствовала кухня французская и немецкая. Подавали янтарное токайское вино, красноватый шамбертен и обязательно шампанское. Умели, когда позволял достаток, пожить в свое удовольствие русские дворяне! Вместе с тем не эти праздники жизни были главной заботой Елены Павловны Фадеевой.

Больше всего на свете она ценила основательное образование, которое постаралась дать своим детям и внукам. Она не перекладывала воспитание детей целиком на плечи крепостных мамок и выписанных из-за границы или обрусевших иностранных гувернанток. Свою старшую дочь Елену она обучала многим наукам, пока той не исполнилось тринадцать лет. А потом, когда Елена Павловна серьезно и надолго заболела, девушка сама с жадностью набросилась на книги, словно черпая в них жизненную силу. Гувернантки с ней почти не занимались. Да и финансовое положение их семьи не позволяло сорить деньгами. А. М. Фадеев взятки не брал, жил на зарплату, долгое время остававшуюся весьма скромной. В семье привыкли на всем экономить, хотя ее глава занимал достаточно «хлебные» места и при желании мог серьезно разбогатеть. Поступать подобным образом ему не позволяла совесть. Жить на одну зарплату для русского чиновника во все времена и при всех правителях – непозволительная роскошь или же чудовищное невезение.

Книги растормошили застенчивую и угрюмую девушку, мать Блаватской, которая среди своих сверстниц слыла белой вороной. Уже с малых лет она овладела искусством версификации. Однако стихи выходили из-под ее пера не такими, какими ей хотелось их видеть. Обыкновенные, вялые слова не передавали живых, непосредственных чувств. Они в большей степени соответствовали бесплодной, обступившей со всех сторон и простирающейся до горизонта степи, высушенному под белесым солнцем ковылю.

К 1834 году были упразднены конторы иностранных переселенцев. Попытка сократить многочисленный штат чиновников, как это часто происходит в России, на деле оказалась

переливанием из пустого в порожнее. Шло обычное перемещение бюрократии в обширном пространстве империи. Но как показывает конечный результат этих служебных пертурбаций, в итоге ничего существенного не происходит, – к старым чиновникам прибавляется большое число новых. А. М. Фадеев был определен членом нового Попечительного комитета Главного управления иностранных поселений южного края России с тем же самым содержанием и направлен на жительство в Одессу.

Для него как для порядочного человека и неподкупного чиновника такое изменение в судьбе явилось в известной степени испытанием. Одесса для проживания была более дорогим городом, чем Екатеринослав. К тому же пришлось продать за бесценок дом с прекрасным огромным садом и много чего другого, чем обрастает человек, живя несколько лет на одном месте. Многолетняя счастливая жизнь в Екатеринославе закончилась. А как говорил Конфуций: «Нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен». (Этот парадокс мировой истории справедлив и по сей день.)

В самом начале переезда семейства Фадеевых в Одессу, казалось, ничто не предвещало беды. Глава семьи вспоминал о начальном периоде жизни в Одессе: «Мы решились переехать и, дабы хоть немного уменьшить необходимые расходы на жизненные потребности и хозяйство, – купить в окрестностях Одессы небольшое имение. Я поехал в Одессу прежде всего один и приискал подходящее имение в сорока верстах от Одессы, деревню Поляковку... Весною 1834 года переехало в Одессу и мое семейство».

В этом имении (всего-то помимо усадьбы там был один двор с шестью крепостными – трое мужского пола и трое женского) немало времени провели все члены многочисленного и дружного семейства Андрея Михайловича Фадеева, в том числе и его старшая дочь Елена Андреевна Ган с детьми. Надежда Андреевна Фадеева, тетя Блаватской, спустя много лет после смерти своей старшей сестры Елены Андреевны вспоминала Одессу того времени как город с необыкновенной праздничной атмосферой:

«Одесса тогда была в апогее своего общественного развития и оживления, генерал-губернатор граф Воронцов и графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова, как магнитом, притягивали к себе со всех концов Европы людей, служивших украшением лучших обществ. Тогда в Одессу съезжалось много польской знати, многие и русские тузы селились в ней, привлекаемые южным климатом и морем. Большая часть из них жили открыто, широко, и зимой блестящие балы и увеселения всякого рода следовали одни за другими, <...> начиная с еженедельных понедельников Воронцовых».

В Одессе А. М. Фадеев проработал чуть больше года. В конце 1835 года последовал его перевод в Астрахань главным попечителем кочующих народов с порядочным пособием на этот переезд.

Глава четвертая

Мать и дочь

Лёля, как сквозь сон, вспоминала знойную, обожженную степь и встающий над ровной и равнодушной ко всему землею медно-красный шар, ее утешение и надежду. При смутном воспоминании о солнце своего младенчества ее душа преображалась. Но не в силах небесного светила было передать, чем жила мятущаяся душа ее матери, – этот неуклюжий чертополох с лилово-красными вспышками цветов среди колючек. Екатеринослав сам по себе наводил скуку, между делом умерщвлял живую душу. Город-неудачник, он мстил людям за свое унижение. История – вот тот оселок, на котором старшая дочка Елены Павловны оттачивала свое воображение, основное оружие в противоборстве с рутинным существованием. К пятнадцати годам в ее сердце заключался весь мир.

От поклонников у Елены Андреевны не было отбоя. Темноволосая красавица с выразительными миндалевидными глазами и тонкой талией, она сводила с ума многих молодых людей. Однако никому из этих ухажеров не удавалось склонить ее к замужеству. Для нее любовь и замужество были тождественными понятиями.

Она жила в мире исторических отражений, обитателями которого были мужественные, благородные и справедливые воины. Потому нет ничего удивительного в том, что ее выбор пал на капитана конно-артиллерийской батареи Петра Алексеевича Гана, героя Турецкой кампании, старше ее на пятнадцать лет. Она венчалась с ним полуробенком, ей едва исполнилось шестнадцать. Ее муж оказался по натуре человеком незлобным, хорошо начитанным, ведь он получил воспитание в аристократическом Пажеском корпусе и говорил на нескольких иностранных языках.

Елена Андреевна была нежным существом, мало приспособленным к условиям суровой походной жизни. К несчастью, брак оказался для нее неудачным. Для мужа ее духовная деятельность, ее литературные интересы не только мало что значили – они вызывали недовольство и насмешки. Петра Алексеевича уродовала армейская жизнь. Он предпочитал вист – театру, скачки – музыкальным вечерам, пьяное застолье – чтению книг.

Елена Андреевна вышла замуж стремительно, за три месяца до выступления полка мужа в поход на Польшу для подавления Польского восстания. Вскоре она поняла, что совершила роковую ошибку, этим браком обрекла себя на раннюю смерть.

В одной из повестей Е. А. Ган «Суд света» есть вставка – «Письмо Зенеиды Н.» – точное воспроизведение ее внутренней драмы:

«Едва я вступила в свет, как многие уже искали было руки моей, но я отвергла все предложения... Привыкши считать любовь и супружество нераздельными, я смотрела на них с особенной точки зрения. Посреди общего крушения моих светлых идей, одна только сохранилась во всей силе своей – идея о возможности истинной вечной любви. Я уповала на нее, верила в осуществление моей утопии, как в жизнь свою, и, нося в груди зародыш священного чувства, не истрачивала его на мелочные привязанности, берегла как дар небес, который мог осчастливить меня только однажды в жизни».

Замужество обозначило перелом в ее судьбе. Жизнь ее, однако, не пошла на улучшение, а повернулась в худшую сторону. Люди они были уж больно разные:

«Между тем тонкий, веселый ум моего мужа, приправленный всею едкостью иронии, ежедневно похищал у меня какое-нибудь сладкое упование, невинное чувство. Все, чему от детства поклонялась я, было осмеяно его холодным рассудком; все, что я чтила как святость, представили мне в жалком и пошлом виде».

Ситуация довольно-таки обычная для образованной и духовно развитой женщины той эпохи. Тут были даже ни при чем моральные качества Петра Алексеевича Гана. Он жил как

все люди его круга и поступал соответственно – как того требовало положение русского офицера. На долю его молодой жены, можно себе представить, выпало немало бытовых трудностей, но намного больше – горечи и обид.

Что оставалось в памяти Елены Андреевны от походной жизни с мужем? Сырые ночи, от которых ее болезнь набирала силу, грубые армейские шутки товарищей мужа, густой табачный дым, взаимные упреки, ссоры и постоянная беременность. Самым приятным среди этого кошмара было вспоминать, как денщик мужа по несколько раз в день вздувал самовар: из-под низа сыпались совсем не обжигающие искры, и вскоре на столе появлялись кружки с ароматным чаем, – в эти мгновения ее неудержимо тянуло в родительский дом. Там жили дорогие и духовно близкие ей люди – мать, сестра и брат. Там были книги, долгие душевные беседы за полночь и благожелательная атмосфера, совсем другая жизнь. По мере возможности она уезжала с детьми к родителям – для короткого отдыха и сосредоточенности. За десять лет замужества Елена Андреевна родила четырех детей: Елену, Александра, Веру и Леонида. Александр умер на втором году жизни.

В письме из села Каменское в Малороссии от 14 октября 1838 года сосланному декабристу Сергеем Ивановичем Кривцову, с которым мать Блаватской познакомилась и подружилась на водах в Кисловодске, она откровенно описывает бытовые тяготы и духовные испытания походной жизни с мужем. Брата Сергея Ивановича, Николая Ивановича, близкого друга Пушкина, она знала еще раньше как хорошего знакомого своего отца:

«Я живу в скверной, сырой, холодной избе, из моих окон я вижу – на восток сельскую церковь, к западу – кладбище на пригорке, уставленное крестами, готовыми упасть; к югу – большую конюшню, к северу – другое строение, принадлежащее батарею, дальше – степь, пески и болота. Прибавьте к этому вечно пасмурное небо, в доме – угрюмое молчание, едва нарушаемое лепетом Верочки, непрерывный свист ветра, а вечером – вой собак и карканье ворон, – и вы будете знать мое жилище, как если бы вы сами жили в нем. С тех пор, как Лоло живет с гувернанткой в другой избе по соседству с моей, я почти не покидаю моего кабинета, – крошечной комнаты, которая напоминает мне ваш каземат 1826 г., потому что в ней не более трех шагов в длину и двух шагов в ширину; но я довольствуюсь малым, и так как в ней могут помещаться моя библиотека, стул и стол, то я чувствую себя в ней очень уютно». В том же письме Елена Андреевна предоставляет адресату свой достаточно точный психологический портрет: «Основная черта моего характера – неустанная деятельность ума и чувства, вечно подвижные, непокорные, беспокойные, они беспрестанно требуют пищи и только напрягая все мои духовные силы, в принудительном занятии я могу укрощать их и подчас даже усыплять. Это нравственный опиум, и я пользуюсь им, как предохранительным средством против моей экзальтации, которая, на ваш взгляд, есть не что иное, как горячка».

Не была ли Елена Петровна живым воплощением того, чего жаждала экзальтированная душа ее матери, Елены Андреевны Ган? Не явилась ли ее жизнь продолжением материнских поисков неразделенной любви, основанной на глубоком сродстве душ? Не представляют ли ее поступки, ее поведение, ее решительный разрыв с национальной духовной традицией результат нового женского сознания, сформировавшегося в 30-е годы XIX века? Думаю, все это именно так. Живость, веселость, оригинальность – основные доминирующие черты характера Елены Андреевны Ган.

И еще одна особенность личности была ей присуща. Вот что писала об этой странности в поведении писательницы ее сестра Надежда Андреевна: «Когда она подмечала смешные стороны иных людей, она любила этих людей дурачить и мистифицировать, – это ее забавляло, и она это делала так остроумно, так комично и вместе с тем так серьезно, что в самом деле выходило необыкновенно забавно для особ, посвященных в шутку, а не понимавшие ее и не подозревали мистификации».

Итак, сомнительный дар дурачить людей Елена Петровна Блаватская получила в наследство от своей матери. Другое дело, что этот дар она обратила на психологическую обработку практически всех, кто ее окружал в зрелые годы жизни. Ее прегрешения требовали покаяния. Но вот на подобное очищение совести Блаватская пойти не могла и не хотела. Единственное, что ее спасало от душевных терзаний, это нравственная необходимость распространять ложь во спасение, создавать новые иллюзии для человечества, большая часть которого все еще обладает, как она была убеждена, инфантильным сознанием, детской доверчивостью и верит всему тому, что им внушают более сообразительные и требующие себе беспрекословного повиновения люди.

За девять лет до смерти Блаватская цинично иронизировала по поводу своих последователей. Ей был присущ черный юмор: «О милые мои ослики! Когда я умру и вся философия и чудеса прекратятся, тогда они поумнеют. Ведь без меня – какая философия и откуда?»

Может быть, с «осликами» Блаватской после ее кончины так и произошло, но некоторые из них превратились в ослов-долгожителей, к тому же подросли новые ослики, и все продолжает и до сих пор идти по-старому, по испокон веку заведенному порядку в рутинном мире людей.

Род человеческий с его варварскими законами выживания внушал ей ужас. Вот почему по отношению к нему она была злоязычна и в мрачных красках описывала его будущее. Но, как многие пророки и пророчицы, Елена Петровна при всей своей способности прозревать историческую даль часто не могла разглядеть и понять того, что творилось у нее под носом. Сестру Веру и тетю Надежду она сделала соучастницами своей самой крупной мистификации – предстать перед человечеством в образе пророчицы и ясновидящей.

Человек в мире есть не что иное, как игральщик капризной судьбы и ветреного случая. Блаватская мне на это возразила бы с неопровержимой логикой, что судьба – это направляющая нить кармы, случай – божественный загонщик, а кто охотник – не дано знать никому из живущих на земле людей.

Блаватская всегда, до последних дней своих, обращалась к личности матери. Память о матери стала чем-то вроде священного ковчега, в котором она хранила самые возвышенные чувства. Дочь подхватила основную тональность матери – проповедь новой жизни для женщины света. Женщины, которая стоит выше грубой чувственности и ищет утешения в служении высоким идеалам. Вопросы, волновавшие ее мать, Блаватская перенесла на почву мистицизма и оккультизма. Плодом этого явилось создание Теософического общества. Ей необходимы были другие религиозные и философские обоснования, другие логические доводы для объяснения таких понятий, как духовный брак, основанный не на плотском влечении мужчины и женщины друг к другу, а на истинном вечном сродстве их душ. Недаром спустя много лет, находясь в Соединенных Штатах Америки, Елена Петровна обратила пристальное внимание на религиозное движение мормонов, которые пытались достичь идеала семейной жизни. С точки зрения православного сознания, они впадали в грех гордыни и прелюбодеяния, а семейный очаг превращали в своего рода сатанинскую скудель. Блаватская между тем совершенно иначе оценивала их деятельность.

В столицу Елена Андреевна Ган попала весной 1836 года, там был временно расквартирован полк ее мужа, и прожила в ней по май 1837 года. Она приехала туда из Курска с годовалой Верой. Этот город стал для матери Блаватской местом вдохновения и триумфа. В те достопамятные времена не Москва, а Санкт-Петербург был законодателем литературной моды.

В Санкт-Петербурге Ган завязала нужные литературные знакомства. На художественной выставке произошла ее случайная встреча с Пушкиным, о которой она тотчас же написала родным: «Я вдруг наткнулась на человека, который показался мне очень знакомым...

Иван Алексеевич (брат мужа Елены Андреевны. – А. С.) в то же время сжал мне руку, указывая на него глазами, и при втором взгляде сердце мое забилося... Я узнала – Пушкина! Я воображала его черным брюнетом, а его волосы не темнее моих, длинные, взъерошенные... Маленький ростом, с заросшим лицом, он был не красив, если бы не глаза. Глаза – блестят, как угли, и в непрерывном движении. Я, разумеется, забыла картины, чтобы смотреть на него. И он, кажется, это заметил: несколько раз, взглядывая на меня, улыбался... Видно, на лице моем изображались мои восторженные чувства».

Аристократическое происхождение позволяло ей без особых затруднений быть принятой в высшем свете. Перед ней распахнулись все двери. Следует также иметь в виду, что Елена Андреевна приходилась двоюродной сестрой поэтессе Евдокии Ростопчиной и мемуаристке Екатерине Сушковой, в замужестве Хвостовой, возлюбленной Лермонтова. Родственниками Елены Андреевны по матери были известные поэты того времени Иван Михайлович Долгоруков и Тютчев. Ведь родная сестра бабушки Блаватской из рода Долгоруковых Анастасия Павловна, родившаяся в 1789 году и скончавшаяся в 1828 году, была замужем за Сушковым, дядей графини Ростопчиной и братом Николая Васильевича Сушкова. Женой Николая Васильевича была Дарья Ивановна, сестра Ф. И. Тютчева. Родственные связи семьи Фадеевых, как видим, были достаточно разветвленными. Помимо прошлого, связанного с русской историей, у этой семьи было и вполне достойное настоящее, связанное с русской литературой. А ее будущее, как известно, наилучшим образом заявило о себе как в русской истории (деятельность С. Ю. Витте), так и в мировой культуре (сочинения Е. П. Блаватской).

В доме Екатерины Сушковой Елена Фадеева шапочно общалась с Лермонтовым и о своем впечатлении от этих встреч написала родным: «Его я знаю лично... Умная голова! Поэт, красноречив». Вообще-то внешне Лермонтов не произвел на нее большого впечатления: «...Он, по крайней мере, правду сказал, что похож на сатану. Точь-в-точь маленький чертенок с двумя углями вместо глаз, черный, курчавый и вдобавок в красной куртке».

В общественной и культурной жизни столицы весна представлялась совсем не такой, какой являлась в природе. Она олицетворяла не пробуждение и расцвет, а скорее замирание жизни, спад и всеобщую усталость. Зима самодовольно выставляла напоказ все лучшее и ценное, что было в Петербурге. Люди круга Елены Андреевны Ган ходили в театры, в оперу и на балет, посещали выставки картин, концерты и балы. Большое распространение в то время получили званые обеды и ужины.

На весну оставалось тоже кое-что, однако не в таком, как зимой, изобилии. Елена Андреевна в самозабвенном восторге вспрыгнула на эту праздничную карусель. Потрясающий мир красоты, изящества и свободы раскрылся перед ней. Что она больше всего любила – это ночные посиделки в частных домах с восьми часов вечера до четырех утра. Мужчины играли в вист, дамы – в бостон или преферанс. Одни говорили о политике и бизнесе, другие сплетничали, обсуждали последние театральные новости, обменивались впечатлениями о прочитанных романах и делились сведениями о том, что нынче в моде, а что нет. За сизым папиросным и сигарным дымом все они едва различали друг друга. В этих гостиных между тем царил чинная и благопристойная атмосфера. Хозяева и гости дорожили добрым именем. В то же время у каждого из завсегдатаев этих гостиных был свой предмет обожания. Любое движение молодой симпатичной женщины толковалось часто произвольно, в пользу того или иного воздыхателя. На этих встречах приходилось вести себя благоразумно и осторожно. Никто не смог бы упрекнуть Елену Андреевну в кокетстве. В то же время, как она признавалась в письме сестре Екатерине, «нет души в целом Питере, которая бы была мне близка».

В одной из петербургских гостиных она случайно познакомилась с человеком, определившим ее литературную судьбу, – с Осипом Сенковским, который открыл ей страницы

«Библиотеки для чтения», но «расчеты и поступки которого были черны», а «деспотизм превышал ее терпение».

Она отдала в его журнал сокращенное изложение романа Бульвер-Литтона «Годольфин». В 1837 году там же появилась ее первая собственная повесть «Идеал» под псевдонимом Зенеида Р-ва, а затем в 1838 году повесть из калмыцкой жизни «Утбалла» и кавказская повесть «Джеллаледдин». Вслед за этими произведениями Осип Сенковский опубликовал одну за другой ее повести «Медальон», «Суд света» и «Теофания Аббаджио». Последняя повесть вызвала восторженные отзывы критики и принесла ей всероссийскую известность. В. Г. Белинский писал о ней: «Между русскими писательницами нет ни одной, которая достигла бы такой высоты творчества и идеи и которая в то же время до такой степени отражала бы в своих сочинениях все недостатки, свойственные русским женщинам писательницам, как Зенеида Р-ва. <...> Итак, основная мысль, источник вдохновения и заветное слово поэзии Зенеиды Р-вой есть апология женщины и протест против мужчины <...>. Но к чести ее надо сказать, что она глубоко понимала униженное положение женщины в обществе и глубоко скорбела о нем. Но она не видела связи между этим униженным положением женщины и ее способностью находить в любви весь смысл жизни».

Сколько услышала Елена Андреевна оскорблений, сплетен и пересудов по поводу сотрудничества с редактором «Библиотеки для чтения» Осипом Сенковским. Молва выставила Елену Андреевну чуть ли не за черту семейного круга, назвав женщиной эмансипированной и распущенной. Своим независимым поведением она словно давала повод отождествлять сочиненное ею с ее частной жизнью. Богатую пищу для досужих вымыслов, например, предоставляла повесть «Суд света»: «Шатался по свету без пользы для себя и для других; встретил женщину, бросил беззаветно к ногам ее все свое бытие и потом, когда она отвергла непрощенный и ненужный ей дар, напал на нее, беззащитную, истерзал ее, запятнал честь мужа, распорядился самовольно жизнью ближнего и своей собственной...»

Быть может, в этом отрывке из повести в какой-то мере сказалась реакция молодой замужней женщины на всяческие хулы в ее адрес. Известно, что в списках ходили посвященные ей скабрзные стихотворные послания. Приложил руку к подобным эпистолам и младший брат А.С. Пушкина Лев Сергеевич, пустивший в публику ернический мадригал, написанный в отместку за то, что Елена Андреевна отвергла его домогательства. Однако в большинстве своем творческие люди отнеслись к Елене Андреевне с пониманием. Так, И.С. Тургенев высказывался о Ган с большим уважением и в 1852 году написал:

«В этой женщине были действительно и горячее русское сердце, и опыт жизни женской, и страстность убеждений – и не отказала ей природа в тех «простых и сладких» звуках, в которых счастливо выражается внутренняя жизнь».

В «Отечественных записках» А. А. Краевского незадолго до смерти Е.А. Ган была опубликована ее повесть «Напрасный дар». Первая часть повести вышла при ее жизни, а вторая появилась в посмертном собрании сочинений. Написанные в 1842 году повесть «Любонька» и новелла «Ложа в одесской опере» были опубликованы уже после ее смерти. Всего за свою короткую жизнь Е.А. Ган создала одиннадцать произведений.

Наступившее пыльное и жаркое лето разлучило Елену Андреевну с Петербургом. Получивший новое назначение в Астрахань ее отец Андрей Михайлович Фадеев забрал ее с детьми с собой. Однако петербургский духовный заряд сохранялся в ней долго, слишком долго, вплоть до самой смерти, поддерживая скудеющие силы и интерес к жизни.

Глава пятая

Смерть матери

В Одессе они жили наездами, начиная с 1835 года. Впервые Лёля оказалась в этом городе совсем маленькой. Здесь 29 апреля 1835 года родилась ее сестра Вера – будущая известная детская писательница Вера Петровна Желиховская. Последний раз Елена Андреевна Ган приехала в Одессу с тремя детьми и гувернантками ранней весной 1842 года. Она редко оставалась на одном месте: то ездила вслед за своим мужем по дальним гарнизонам. Иногда возвращалась, чтобы передохнуть от кочевой жизни, к родителям, в города, где служил ее отец – Андрей Михайлович Фадеев. Либо в Екатеринослав, где А. М. Фадеев был управляющим конторой иностранных поселенцев, либо в Одессу, где он был членом Комитета иностранных поселенцев южного края России, либо в Астрахань, куда его направили главным попечителем кочующих народов. В родительском доме она хотя бы на время спасалась от пошлости гарнизонного быта. И наконец, осенью 1839 года дед Лёли получил серьезное новое назначение – управляющим палатой государственных имуществ в Саратовской губернии, а 17 апреля 1841 года там же вступил в должность гражданского губернатора. Карьера деда шла по возрастающей линии благодаря родственным связям его жены Елены Павловны.

Весна была необычно жаркой, а лето – сухим и душным.

У Лёли самой постоянно першило в горле, и какая-то тяжесть внутри не давала вздохнуть полной грудью. Они жили на квартире у друзей бабушки. Квартира располагалась в особняке и была с отдельным входом. Их временное жилище отличалось роскошной, почти царской меблировкой в стиле рококо. В двух комнатах стояли «кудрявые» столы на приплясывающих ножках и шкаф с волнообразными ящиками, опутанный сочными стеблями бронзы. Сквозной орнамент пышных трав и чувственных извивов туманил сознание. Девочка ходила мимо этих вещей как во сне, на цыпочках. Пряные вычуры рококо дразнили воображение, перемещали из скучной действительности во вкрадчивый мир Востока, полный нежного изящества и тропической полуденной истомы. Гедонизм рококо не совмещался с ужасом положения, в котором они оказались.

Для лечения Елены Андреевны требовалась особая минеральная вода. Ее отец, саратовский губернатор, направил их сюда в надежде на выздоровление дочери. Однако чудодейственная вода на этот раз не помогла, как и кумыс, которым она опивалась до тошноты. При ней и детях неотлучно находились две гувернантки и доктор Гэно, считавшийся лучшим в городе. У доктора было лицо идиота, вечно озабоченное и кислое. Он пришепetyвал и картавил. Его речь напоминала звук булькающей в кастрюле каши. Доктор относился к стеснительным и невротическим натурам. Казалось, он вот-вот непроизвольно разрыдается. Доктор ходил по комнате как малахольный, гладил Лёлю и Веру по голове, маялся и страдал. Ему становилось невмоготу при мысли, что манипуляции, которые он совершал над молодой, безнадежно больной женщиной, бессмысленны. Они усиливали ее страдания и окончательно изнурили.

Елене Андреевне Ган едва исполнилось двадцать восемь лет. Она и перед смертью работала до полуночи. Проводила долгие часы за зеленой коленкоровой занавеской, отгородившей часть комнаты. Этот крошечный уголок был ее рабочим кабинетом. Где бы она ни жила с мужем и детьми, в городе или деревне, всегда огораживала для себя небольшое пространство. Лёле и Вере туда заходить не возбранялось, но запрещалось трогать что-либо из маминих вещей. Девочки даже не предполагали тогда, что их мама работает в поте лица, чтобы оплатить домашних учителей и гувернанток. Состояние семьи Ган было совершенно

расстроенное, так что писательская деятельность Елены Андреевны давала кое-какой доход. Гонорары за повести уходили на оплату жалованья англичанке мисс Джефферс, учителям, а также на покупку нужных книг для себя и для детей. Елена Андреевна из последних сил пыталась сделать их образованными людьми: «Какими-то ни было жертвами хочу, чтобы дети мои были хорошо, фундаментально хорошо образованы. А средств, кроме пера моего, — у меня нет!...» Елена Андреевна поспешно дописывала свою очередную повесть, девятую по счету.

Ее огромные черные глаза смотрели на Лёлю, Веру и маленького Леонида с невыразимой скорбью. Этот безутешный и страдающий взгляд предвещал величайшее несчастье, скорую и вечную разлуку с той, кто дал им жизнь.

От моря шел йодистый запах лазарета. С холма при вечереющем небе оно напоминало огромную, тщательно отполированную плиту серого мрамора. Лодки рыбаков смотрелись на этой светлой поверхности черными, как расплывшаяся тушь, пятнами.

Лёля знала за мамой одну неприятную черту — воспламениться от неожиданной идеи, погружаться в пучину творческого вдохновения и забывать обо всем на свете. Материнское безразличие к ней, своей старшей дочери, расстраивало до слез. Большей частью девочка находилась под опекой ординарцев отца. Чего только она не делала, чтобы привлечь внимание матери: строила из себя взрослую светскую даму, раздражая маму бонтонными фразами, ходила на голове, капризничала, беспрестанно меняла расположение духа. Все было бесполезно. Леле казалось, что она одна, вечно одна. Эти приступы тяжелой душевной депрессии, которые будут потом преследовать ее всю жизнь, передались ей от матери, пытавшейся напряженной умственной работой, писательством своим подавить те же чувства отчаяния и одиночества. Каким еще способом можно было избавиться от постоянного недовольства окружающим? Из убивающей душу монотонной обыденности должен же быть какой-то выход?

Мало-помалу Леля нащупывала подступы к освобождению от инертности жизни. Этот проклятый замкнутый круг ей удалось преодолеть фантазией. Она интуитивно поняла, что существует возможность не следовать заведенному порядку вещей. С этого мгновения ее одиночество питалось навязчивой мыслью о некоем Хранителе — величественном индусе в белом тюрбане. Взрослея, она все сильнее нуждалась в материализации этой идеи.

Девочка была убеждена, что мама не любит ее, и доискивалась причины этой нелюбви. Много лет спустя она поняла, что ошибалась. Елена Андреевна любила Елену с тем же трепетным страхом за ее будущее, как Веру и Леонида. А если и уделяла всем им времени меньше, чем хотелось бы, в этом следует винить не ее, а жизненные обстоятельства.

В характере матери Блаватской были твердость и мужество патологоанатома. Она препарировала нежнейшую, эфемерную ткань сохраняемых памятью ощущений с неслыханным самообладанием.

У Лёли не было, как у матери, фаталистического отношения к происходящему. Не к жизни в целом, а к отдельным событиям, непосредственно затрагивающим жизнь, которую человек проживает. Действия Лёли против всяких жизненных передраг и неприятностей были стремительны и победоносны. Мать, в отличие от нее, представляла романтический тип, была «причудницей», наделенной возвышенным строем мыслей. Она словно сошла с небес, чтобы встать на защиту несчастных и униженных женщин. Сама же только внутренне, в душе, сопротивлялась насилию жизни, а внешне — плыла по ее течению.

Ах, мама, бедная мама! Зачем ее опять занесло в Одессу?

Лёля открыла настежь окно и встрепелась. С улицы слышались знакомые голоса. Сочный баритон дедушки, дребезжащее сопрано бабушки и неокрепший голос Нади — юной тетки, почти ровесницы Лели. Словно предчувствуя трагическую развязку, из Саратова, где губернаторствовал дед, в Одессу приехали родители Елены Андреевны. Позже Андрей

Михайлович Фадеев будет вспоминать эти страшные дни: «21-го мая 1842 года я с семейством моим отправился в Одессу, через Воронеж, Курск и т. д. В Екатеринославе мы прогостили несколько дней у старушки моей матери, которую я видел уже в последний раз. Я предполагал пробыть у нее далее, но должен был поспешить с выездом, узнав об усилившейся болезни бедной моей старшей дочери Елены, которая по полученному нами известию находилась в опасности и с нетерпением ожидала нас в Одессе. Ей не столько угрожала болезнь, сколько пагубная, общепринятая тогда метода лечения кровопусканиями; такой слабой, истощенной продолжительным недугом женщине, как она, в течение двух недель пустили восемь раз кровь и поставили более ста пиявок, что, конечно, привело ее в полное изнурение. Лечил ее врач, считавшийся лучшим в городе».

Лёля на всю жизнь запомнила бурю, случившуюся перед самой маминой смертью. Молния сверкала почти непрерывно, сопровождаемая оглушительными раскатами грома. Один из электрических разрядов попал в соседний дом, разбил створчатые двери, повредил и распаял замки.

Елена Андреевна умерла 24 июня 1842 года на руках своей матери. На ее могиле установили белую, обвитую розой, мраморную колонну с вырезанными на ней строками из ее последнего произведения «Напрасный дар», ставшими невольной автоэпитафией: «Сила души убила жизнь... Она превращала в песни слезы и вздохи свои...»

После смерти Елены Андреевны ее близкая подруга, Антония Кюльвейн, не оставила детей. Девушка по себе знала, что значит жить без матери. Ее собственная мать, дочь лютеранского священника, умерла, когда Антония была ребенком. Они проживали всей семьей в маленьком городке в Финляндии, где отец находился на русской службе. За несколько лет до смерти матери старший брат Антонии чуть было не утонул, его вытащил из воды местный рыбак. В благодарность за это спасение сына отец Антонии, оставшись вдовцом, женился на дочери рыбака.

Как в сказке о Золушке, мачеха Антонии оказалась злой и коварной бабой и пыталась всеми силами уморить падчерицу. Она одевала девочку в грязные тряпки, обуви своей у девочки не было – только изношенные башмаки младшей сводной сестры, которые, естественно, не подходили ей по размеру. Когда же отец Антонии умер, мачеха совсем потеряла стыд. Однажды в середине суровой зимы она выгнала Антонию из дома. Девушка чудом осталась жива. На нее, замерзающую, находящуюся без сознания наткнулся бывший служка ее деда-пастора и привел в чувство.

К тому времени дед жил в Петербурге и служил в одной из тамошних лютеранских церквей. Ему сообщили о происшедшем событии, он приехал за внучкой и увез ее к себе. Используя связи и то обстоятельство, что Антония осталась круглой сиротой, а ее покойный отец был российским чиновником, дед записал Антонию на казенный счет в Екатерининский институт. Она училась настолько хорошо, что по окончании учебы ее должны были отметить высшей наградой – *золотым шифром*, вензелем государыни, получаемым институтками при выпуске. Однако эта награда досталась титулованной девушке, дочери умершего князя. Перед торжественной церемонией по этому случаю присутствовавший император Николай I, пытаясь хоть как-то соблюсти справедливость, предложил Антонии на выбор: либо остаться в Институте *пепиньеркой*, то есть готовиться в наставницы, либо получать пожизненную ежемесячную пенсию в размере 35 рублей. Антония выбрала свободную жизнь. Некоторое время она была компаньонкой у одной легкой на передок помещицы, которая использовала ее как ширму для своей греховной жизни. Понятно, что вскоре бедная сирота от нее сбежала. Приехав в Полтаву, она случайно познакомилась и в одночасье подружилась с Еленой Андреевной Ган. С тех пор они не расставались.

Нет необходимости говорить о том, что Антония Кюльвейн боготворила Елену Андреевну, восхищалась ее писательским даром, благородной и светлой душой. Жизнь девушки

довольно тесно сплелась с жизнью семей Фадеевых, Ган и Витте. Она находилась среди них до самой своей смерти в Тифлисе в начале апреля 1850 года, ненадолго, всего-то на восемь лет, пережив свою близкую подругу, и была похоронена на Верском кладбище, на высоком обрыве над Курой.

Антония оставила о себе у Веры и Лёли добрые воспоминания. Недаром много лет спустя Елена Петровна Блаватская, рассказывая о своей первой поездке в Индию (что, впрочем, мне представляется маловероятным), упоминает о встрече в Лахоре с неким немцем, якобы старым приятелем отца, бывшим лютеранским священником. Его фамилия, как она уверяла Олкотта, была Кюльвейн. По просьбе отца Блаватской, обеспокоенного судьбой старшей дочери, он якобы пытался разыскать ее в Индии. Таким вот своеобразным способом Елена Петровна отдала дань памяти Антонии, во многом скрасившей их первые с Верой годы сиротства.

Они покидали Одессу. Родители Елены Андреевны забирали детей с собой в Саратов. Путешествие на этот раз оказалось потрясающе интересным, ведь рядом с ними был их дед, который до своего саратовского губернаторства, находясь в Астрахани, управлял кочующими народами, в том числе и калмыками, буддистами по своей вере. Внучки называли Андрея Михайловича «большой папа» в отличие от «папы маленького», их родного отца Петра Алексеевича. Деда встречали с особым радушием на всем пути следования, который частично пролегал по прикаспийским степям. Как-никак он, высокопоставленный царский чиновник, делал всё, что было в его силах, для улучшения жизни калмыков и киргизов. Вероятнее всего, для Лёли это было первое осмысленное соприкосновение с буддийским миром. Ее поразило много нового в нем, чего она прежде никогда не видела. Вне всякого сомнения, непривычные образы этого мира запали ей в душу. Ее сестра Вера, которой было семь лет, позже восстановит в своей автобиографической книге «Мое отрочество» весь антураж приема семьи Фадеевых гостеприимным калмыцким князем: «Белая тонкая скатерть была разостлана без стола, прямо на полу поверх ковров. На ней были вместо тарелок расставлены пестрые глубокие чашки, вроде наших полоскательных, а перед каждой чашкой был постлан маленький коврик или же просто пестрый платок и только пред некоторыми лежали подушки. На эти подушки князь Тюмень усадил старших, а мы все разместились, как пришло».

Угощение важным гостям подавали в большой богатой кибитке. Она представляла собой островерхую палатку из войлока на жердях и деревянной решетке, а внутри была обита и устлана коврами, циновками и шелковыми тканями. На калмыках, как запомнила Вера, были халаты и круглые меховые шапки. Калмычки были разряжены в парчу, бархат и золото. На них висело столько украшений, что они с трудом поворачивали головы.

Бабушка девочек, Елена Павловна, в доступной форме объяснила им, кто такой Будда, который жил гораздо раньше Иисуса Христа и был «умный и добродетельный человек и проповедовал очень чистое, нравственное учение...». Для православной христианки первой половины XIX века это было очень смелое заявление. Бабушка познакомила их с основными атрибутами религиозного культа калмыков. Это были скульптурные изображения буддийских богов – так называемые бурханы, моленные барабаны, или, как еще их называют, моленные мельницы, а также с «танка» (в переводе с тибетского «свиток») – живописные, выполненные клеевыми красками иконы.

Что бабушка знала, тем и поделилась с внучками. Неискренности в их семье не было. Кое-что от детей, разумеется, утаивалось, но только не то, что было связано с культурой других народов.

В Саратове у них появилась новая гувернантка-француженка мадам Каролина-Генриетта Пеккер, женщина далеко не молодая и требовательная. Она была небольшого роста, со сгорбленной фигурой, со злым выражением лица, с седыми жидкими волосами, свернутыми

на висках в плоские завитки, с блестящими серыми глазками и вострым носиком, на кончике которого почти всегда висела капелька.

Из Астрахани приехала дочь их хороших знакомых, небогатых обрусевших англичан, Елизавета Яковлевна Стюарт. Лёля и Вера не должны были растерять знания, полученные от мисс Джефферс, а наоборот – укрепить их с помощью учительницы по английскому языку. Елизавета выросла в России и говорила по-русски хорошо и без акцента. Последнее обстоятельство не укрепляло ее авторитет среди фадеевской прислуги. Горничные за ее спиной судачили, что англичанка она не настоящая, а так себе. Может быть, пересуды дворовых позволили Лёле нахально утверждать, что она знает английский язык намного лучше, чем их молоденькая неопытная учительница. Эта самонадеянная позиция строптивой ученицы не раз становилась причиной ее конфликтов с мисс Стюарт.

Ко всему прочему Лёля затяжную войну с мадам Пеккер. Старушка, естественно, в свою очередь и защищалась, и нападала, но молодость брала свое, и Лёля часто праздновала победу, о чем свидетельствовал ее наглый и оглушительный смех. Это противостояние, взаимные «подставы» и словесная перепалка Лёли и мадам Пеккер почти превратились в «общее место» их повседневной жизни.

И все-таки развязка наступила. Терпение мадам Пеккер истощилось после одного случая, описанного честно и правдиво сестрой Лёли – Верой. Перед этим, правда, был подброшенный в постель мадам Пеккер еж и много чего другого. На этот раз у старой француженки уже не оставалось сил терпеть шутки и вызывающее поведение несносной девчонки. И она навсегда покинула дом Фадеевых.

Вот эта история о том, как Лёля, подкравшись у реки к прогуливающимся по берегу мадам Пеккер и Вере, до смерти напугала их, завыв волком:

«– Ага! Испугались?.. Я нарочно подкралась... <...> Что вы так смотрите? Неужели я так вас ужасно перепугала? <...>

– Шутка, которая могла стоить мне и сестре вашей жизни!

– Жизни? <...> Кто же умирает от такого вздора? – наивно изумлялась сестра, продолжая смеяться.

– Вздор – ледяная ванна в ноябре месяце?

– В конце октября! – хладнокровно поправила Елена. – И наконец, вы ее не приняли, ледяной ванны. Зачем преувеличивать?

– Преувеличивать? В октябре? В ноябре, говорю я вам! Теперь ноябрь для всей Европы. Но, разумеется, ее здесь не знают, цивилизованную Европу! Что же может быть общего между Европой и варварскими странами, которые могут порождать *таких* девиц?»

Очередной эксперимент над мадам Пеккер закончился плачевно. Ее стремительный отъезд в Саратов с фермы, где в то время жили сестры в семье Юлия Витте, мужа тети Кати, стал для Лёли неожиданностью. Чем объяснить это постоянное стремление Елены Петровны, проявившееся еще в детстве, подначивать людей, злить и прилюдно надсмехаться над ними – злым мизантропическим характером, нравственной глухотой или безразличием к себе подобным? К сожалению, многие из тех, кто считается великими строителями будущего и перелицовщиками людских судеб, не могли бы ни шага сделать, ни пальцем пошевелить, не обладай они в полной мере этими малопочтенными человеческими качествами и свойствами. Может быть, безразличное отношение к чувствам и мыслям других людей – необходимое условие для успешного результата экспериментирования над ними.

Тетка Елены Петровны Надежда Андреевна Фадеева в своих воспоминаниях пыталась обнаружить причины строптивного, нетерпеливого характера своей племянницы и подружки:

«Она была избалована в детстве непомерной заботливостью и услужливостью слуг и преданной любовью со стороны родственников, которые все прощали «бедному ребенку, лишенному матери», и позже, в девичестве, ее самолюбивый характер заставил ее открыто

бунтовать против принятых в обществе норм. Ее было невозможно ни подчинить проявлением притворного уважения, ни запугать общественным мнением. Она ездила верхом <...> с десятилетнего возраста, на любой казацкой лошади в мужском седле! Она не кланялась ни перед кем, так же как не подчинялась предрассудкам или общепринятым нормам. Она оспаривала все и вся».

Вера Петровна соглашается с Надеждой Андреевной, но в книге «Мое отрочество» акцентирует внимание на добрых началах в личности старшей сестры, в том числе отмечает присутствие в ней чувства сострадания к сирым и убогим: «Она умела подмечать слабости человеческие и дурные свойства, но никогда не смеялась над несчастьем, над уродством физическим. Она, напротив, обиженным всегда бывала готова помочь, а своих обид никогда не помнила. Невозможно было быть менее злопамятной, чем она, и прощать искренне всех своих недругов. Эта прекрасная черта всю жизнь ее отмечала».

В старости Елена Петровна Блаватская, представляю себе, с большим удовольствием вспоминала слова мадам Пеккер о цивилизованной Европе и варварской России. Ведь она сумела эту Европу, а заодно и Америку уложить на обе лопатки. И заметьте, с применением только одного оружия – силы своего характера.

Судьбы старенькой Каролины-Генриетты Пеккер и ее мужа сложились самым плачевным образом. Они оба умерли от холеры в Саратове в 1847 году. В тот же год, весной, все жившие в Саратове Фадеевы, Ганы и Витте уехали к дедушке в Тифлис на постоянное место жительства. И уже в этом замечательном городе сестры Лёля и Вера, а также их тетя-подружка Надежда получили посылку от их гувернантки француженки. «Там оказались великолепно переписанные мастерским почерком Каролины-Генриетты Пеккер все нравившиеся песни, баллады и юмористические куплеты, которые она бывало распевала своим дребезжащим голосом. То был ее посмертный подарок, – знак того, что она искренне простила своим непокорным, насмешливым ученицам и не забывала о них. Подарок этот очень растрогал Надю и Лёлю, а у меня часть его и доныне в сохранности», – подытоживает свой рассказ о мадам Пеккер Вера Петровна Желиховская.

Глава шестая

Фантасмагории, фантазии, невиданные чудеса

Над морем стояла радуга. Ее нижний край был розовый, середина золотистая, а верхний край темно-оранжевый. Зрелище восхитительное и волшебное. Других радуг, как сказала ей бабушка, вообще не бывает. После смерти мамы девочка ощутила в себе какое-то раздвоение личности, а точнее – расщепление собственной души и сознания. С одной стороны, она была убита горем, а с другой – словно повернулась спиной к чудовищной реальности смерти, чтобы не быть сокрушенной тяжелым, невыносимым сиротством.

Во времена своего отрочества Елена Петровна с трудом переносила такое раздвоение. Ее изматывало присутствие в душе кого-то постороннего, без всякой учтивости, настырно влетающего в любой ее разговор со своими высокопарными словами, заставляющего вести себя в соответствии с его волей, перекраивающего всю ее по своему усмотрению и капризу. Этот невидимый для окружающих «некто» преображал ее изнутри до неузнаваемости, менял до такой степени, что она уже не воспринимала себя Лёлинькой, взбалмошной Лоло, а с ужасом ощущала кем-то еще, совершенно неизвестной ей личностью, которая была к тому же наделена по отношению к другим людям непомерными амбициями и серьезными претензиями. Она, спасаясь от этого наваждения, впадала в сон или в транс, долгий или кратковременный.

После пробуждения Лёля едва вспоминала кое-какие обрывки этого сна, мучилась головной болью и чувствовала себя совершенно разбитой.

С годами Елена Петровна все больше и больше укреплялась в духовном отщепенстве, свыклась с ним и ждала нового транса с необыкновенным воодушевлением. Она более детально запоминала происходящее с ее второй натурой и искренне удивлялась тому, что получила возможность без особых затруднений передвигаться во времени и пространстве. Этой невообразимой свободе она была всецело обязана, как впоследствии настаивала Елена Петровна, своим Учителем, «иерофантам», «иерархам света». Во взрослые годы она, «основываясь на опыте подобных, постоянно переживаемых ею психических состояний, разработала теорию двойников.

В таком странном состоянии она позволяла себе говорить и делать что угодно. И все же совсем не в этом заключалась ценность благоприобретенного дара. Действительный смысл был в том, что свои рассуждения, казавшиеся некоторым людям бессвязными и самонадеянными, она не из пальца высасывала, а выводила из сопоставления картин прошлого и будущего. Панорама дня вчерашнего и дня будущего разворачивалась перед ней без всякого принуждения, стоило ей только впасть в эту своеобразную летаргию. Ее провидческие экстазы не были легкими, они отнимали у нее здоровье, преждевременно старили.

Потом Елена Петровна осознала, что провидение будущего и воспоминания о далеком прошлом являются способностью памяти ее предков, которую она от них унаследовала. Как сейчас сказали бы, способностью генетической памяти, по разным причинам у Елены Петровны чрезвычайно обострившейся и ставшей объемной.

Разумеется, эти провидческие всплески ее сознания не занимали каждого мига ее неприкаянной жизни. Она жила преимущественно мгновением, сумбурной жизнью авантюристки. Ей приходилось выживать с помощью сомнительных средств и не задумываться о последствиях некоторых своих необдуманных решений и поступков. В то же время она переломила себя в главном, заставив жить не по любви, а в соответствии с идеями и поставленными целями. На склоне лет она почти утратила способность понимать обыкновенную жизнь, отчего нередко впадала в тяжелую депрессию, никого не хотела видеть и неделями не выходила из своего дома в Лондоне.

Она, не думая уже о необходимости зарабатывать себе на хлеб насущный, пыталась превратить долгий сон в психотерапевтическое средство.

Новые страшные видения и кошмары настолько ее ошеломили, что, придя в себя, она едва слышно произносила пересохшим ртом малозначительные слова и долго после этого мучилась бессонницей. Следствием такого нервного перенапряжения стал для нее сахарный диабет.

Перед погружением в сон ее часто мучил набирающий силу скрежещущий звук, словно купол неба вдруг стал железным и, раскачиваясь, задевал и царапал землю. Казалось, началось светопреставление. Кали-юга – черная эпоха приходила к своему завершению. А затем снова рождалось солнце нового «золотого века». Один мировой цикл сменялся другим, и появлялись новые земля и небо.

Все развивается циклично, возвращается в конце концов на круги своя.

Согласно представлениям индусов, установился на земле Черный век, Кали-юга. Век ужасный, при котором земля под ногами человека – шаткая и затягивает в себя, как трясина, а путь, по которому идет человек за своим бессмертием, освобождаясь от тяготения сансары, – одно бездорожье и ведет в никуда. Человек шарахается на этом пути из стороны в сторону, то налево, то направо. А стоять твердо посерединке мало кто из людей умеет и хочет.

Она во сне видела тупые и сытые лица палачей, методично забивающих людей, как скот на бойне. Елена Петровна чувствовала, как седеет – ее золотистые, в мелких кудряшках волосы превращались в извивающихся серебристых змеек. На поверку получалось что-то совсем противоположное ее мечтаньям. Упорное подстегивание людей ко всеобщему счастью дало не то чтобы убогий, а совершенно отвратительный результат.

Блаватская узнала правду – в подготовке всемирной бойни было ее подспудное участие, ее идейное благословение. Ей стало невыносимо страшно в своем провидческом сне. Она бежала в отчаянии мимо просторных загонов, в которых находились, ожидая смерти, истощенные, сбившиеся в огромные толпы люди, мимо вырубленных садов и разрушенных церквей. Она бежала со всех сил обратно, в свое время. Она ныряла в мертвые воды Стикса с единственной надеждой – избавиться навсегда от сострадания и от любви к людям. В этой маслянистой, со свинцовым отсветом, воде забвения находились ответы на все вопросы ее многострадальной жизни.

Личная жизнь не удалась Елене Петровне. С детских лет она была поражена силой страстной и высокой любви к никому не известному индийцу в белых одеждах. Она часто думала о нем и представляла его то разряженным с восточной роскошью принцем, то скромным монахом. Образ «Учителя» не зависел от силы ее воображения, как она себя убедила, он присутствовал в ней изначально, был присущ только ей, как тембр голоса или как яркосиние, с желтыми искорками глаза.

Она приходила в неистовый священный гнев, когда кто-то пытался усомниться в его существовании или представлял мнимой его мудрость. Она разносила из страны в страну весть о своем «Учителе» и его друзьях с такой настойчивостью, словно делилась со всем миром несказанной радостью, переполнявшей ее сердце.

Из чувства сиротства и одиночества родилась ее первая и единственная любовь. В каком-то смысле это была любовь к самой себе – брошенной взрослыми, взбалмошной девочке, которую домашние называли Лёлей или Лоло, а чужие – Еленой.

Блаватская любила уединение, и в то же время ее прельщала многолюдность, в которой она чувствовала и вела себя, как акула среди мелких рыбешек. Она постоянно пребывала в смятенном расположении духа и на одни и те же вещи в зависимости от настроения и меняющихся привязанностей смотрела по-разному. Минутное и иногда безотчетное побуждение заставляло ее поступать не так, как ей хотелось бы. И все же Елене Петровне, испытавшей измены и разочарования в людях, были чужды злоба, недоверчивость и мстительность. Ей

зачастую приходилось прибегать к притворству и показной скромности: а как еще ей было защитить себя от низости и коварства ничтожных людей?

В устных рассказах самой Блаватской вообще нет никаких упоминаний о первой поездке их семьи на Северный Кавказ, в Кисловодск – известный курорт того, как, впрочем, и нынешнего, времени, где ее мать Елена Андреевна пыталась поправить свое здоровье.

Сестра Блаватской с благодарностью описывает жизнь у бабушки и дедушки, их гостеприимный дом в Саратове. Кроме них в этом доме жили мамы сестры Надежда и Екатерина, которая вскоре вышла замуж за Юлия Витте.

Вот что пишет Вера Петровна:

«Теперь надо еще сказать, что бабушку мы всегда называли бабочкой, почему – сама не знаю... Вероятно, объяснение этому прозвищу находилось в том, что бабушка, очень умная, ученая женщина, между прочими многими своими занятиями любила собирать коллекции бабочек, знала все их названия и нас учила ловить их. Оба они, и дедушка, и бабушка ничего не жалели, чтобы тешить и забавлять нас. У нас всегда было множество игрушек и кукол; нас беспрестанно возили кататься, водили гулять, дарили нам книжки с картинками. <...> Дом дедушки, который я ночью приняла за фонарь, был в самом деле большой дом, с высокими лестницами и длинными коридорами. В нижнем этаже жил сам дедушка и помещалась его канцелярия. В самом верхнем были спальни: и бабушки, и тетины (Екатерины Андреевны и Надежды Андреевны. – А. С.), и наши. В среднем же почти никто не спал; там все были приемные комнаты, – зала, гостиная, диванная, фортепьянная».

Важная деталь: в их длинной, невысокой детской не было другого света, кроме яркого огня в печи. Печь была широкая, русская, украшенная изразцами и с большой лежанкой. Распластавшись на этой печи, Лёля и Вера очень любили слушать сказки, которые им рассказывала крепостная няня, бабушка Настя. Так и представляешь комнату с таинственными, скачущими в такт пламени тенями на стенах и потолке. Не бессмысленные и случайные тени, а диковинные арабески, сложенные из загадочных, но имеющих объяснение фигур и экзотических черно-белых цветов и листьев, которые непостоянны, недолговечны и от которых невозможно оторвать взгляда, как и от горящих и неожиданно стреляющих в печном зеве поленьев. При этой игре света и тени вся комната наполняется колеблющимися лицами и фигурами, беспрестанно меняющимися и оттесняющими друг друга.

В унисон этому слаженному хору огня и теней звучит хрипловатый, устрашающий голос няни, бабушки Насти, воспитавшей два поколения Фадеевых и рассказывающей им, детям, сказку о злой ведьме и Иванушке. Крепостная женщина, бабушка Настя в общении с Лёлей и Верой исходила из гуманного педагогического принципа, что детей надо брать лаской и уговором, но ни в коем случае нельзя их воспитывать подзатыльниками, пинками и шлепками.

Огонь помаленьку догорает, и в его багровых отблесках комната кажется огромной. Наконец наступает обволакивающая темнота. Не видать ни зги. Глаза пытаются нащупать в темноте лица и предметы – темно-синяя стена мрака. Тогда зрение устремляется вовнутрь, а как только чуть-чуть развиднеется, очертания неведомого мира проступают за слабой серой дымкой «посюстороннего».

Так открываются духовные очи. Они, только они способны различить и понять заветнейшие мысли, сокровенные тайны и глубокие чувствования.

Елене Петровне было недостаточно реальной, обыденной жизни, потому-то своим буйным воображением она творила, противопоставляя скучному существованию жизнь иную – затаенную, таинственную, загадочную. Эта непохожая ни на что жизнь уподоблялась ее снам, в которых часто возникали картины предыстории человечества. Иногда она слышала рев давным-давно исчезнувших с земной поверхности животных. Звездное небо над ее головой было незнакомым и неузнаваемым, так же как и шумы и шорохи таящей опасности ночи.

Она, напуганная этими видениями, открывала глаза. Прочувствованное и увиденное ею во время сна не исчезало без всякого следа, а частично, обрывками оставалось в реальности, просачивалось, как кровь, сквозь бинты здравого смысла и эмпирического опыта, которыми ее плотно обматывали, пеленали чуть ли не с самого рождения.

Блаватская искренне уверовала, что без этих знаков потустороннего, этих отсветов прошлого ее собственная жизнь окажется неизжитой, будет провалом в несущемся куда-то пространстве. К тому же с детских лет она была подвержена необыкновенным галлюцинациям. Она умела, впадая в транс, в течение долгого времени видеть наяву то, что для большинства людей тут же растворяется в воздухе. Уже в Америке эта нервная болезнь окончательно определилась и диагностировалась как эпилептическая аура. Врачам известно, что заболевшие этой болезнью люди часто слышат какой-то невидимый голос и видят какие-то предметы. Этим заболеванием страдали как выдающиеся мужчины, так и женщины. Например, Елена Ивановна Рерих. Будем сострадательны к двум Еленам, понимая, что любой прорыв в запредельное почти всегда сопрягается с какой-то аномалией в психике человека.

Сколько раз взрослые находили ее дрожащей и до смерти напуганной в каком-нибудь углу просторного саратовского дома. Никто из них не мог себе представить, что она буквально за минуту до своего обнаружения видела перед собой что-то невообразимо жуткое и зловещее.

К тому же она обладала фантазией неистощимой выдумщицы, и эта ее способность завираться до неприличия с годами развивалась еще больше.

Вера вспоминает сестру Лёлю шалуньей, насмешницей и хохотушкой, чрезвычайно любопытной ко всему, что было непонятно и скрыто от ее внимательных и цепких глаз. Однажды сразу после причастия Лёля неприятно поразила близких какой-то неумной бесшабашной веселостью. ««А ты-то, Лёля, большая девочка, только что от исповеди и громче всех хохочешь! Не стыдно ли?» – пыталась ее урезонить мама».

Еще более странные вещи проявились во взаимоотношениях старшей сестры с младшими детьми. Свою вину она запросто могла переложить на другого человека. И это делалось не из страха быть избалованной в чем-то нехорошем, а исключительно ради куража, ради потехи и упрямства. Так, находясь на даче под Саратовом, Лёля, играя, камнем случайно убила гусенка, который принадлежал живущей по соседству сторожихе, и тут же свалила это убийство на младшую сестру.

Лёля была нестандартным ребенком. Самолюбивая и гордая, она пыталась первенствовать всегда и во всем, чего бы ей это ни стоило. Максималистка, она искренне хотела, чтобы мир вокруг нее был совершенен.

«– Гадкая птица ворона! Я ее не люблю, – сказала Лёля бабушке.

– Чем же она гадкая?

– Некрасивая, неуклюжая, черная, толстая. А как захочет запеть, так противно каркает.

– Чем же она виновата, что ее Бог такую сотворил? – сказала бабушка. – Значит, ты всех некрасивых не любишь? Вот и я тоже толстая, неуклюжая и петь не умею, так ты и меня за это не будешь любить?

– Ну, вот еще, бабочка! Что это вы говорите? – сконфуженно пробормотала Лёля, вся покраснев...»

Ничего удивительного, что в семье ее не то что недолюбливали, а держались с ней настороже, ожидая какого-нибудь подвоха.

У Лёли не прекращались конфликты со взрослыми. Она хотела поступать по-своему – они требовали от нее послушания. Взрослые ее раздражали. Екатерина Андреевна, ее тетя, на плечи которой легла забота о детях ее старшей сестры, одно время изрядно баловала Лёлю. Понимая, что ей многое позволено, девочка совсем отбилась от рук. Тетя Катя пыталась исправить огрехи своего воспитания, но было уже поздно. «Другие в твои годы сами

помогают родным в воспитании младших детей. А ты только усложняешь и отравляешь мне жизнь своим безрассудством!» – укоряла ее мамина сестра. Однако на Лёлю мало действовали подобные вызывания к ее совести. Она злилась, когда кто-то пытался поставить ее на место. Девочке представлялось, что ее свободе приходит конец, и она впадала в панику.

В эти тягостные для нее минуты Лёля обращалась за помощью к таинственному незнакомцу (ангелу-хранителю?), которого она одна ощущала горячей, неискушенной душой и сердцем и о существовании которого никто вокруг нее до определенного времени не должен был догадываться. Она любила его одного так сильно и глубоко, как любят только идеал или неосуществимую мечту.

С членами семьи у Лёли возникали бесконечные конфликты, будто они общались на разных языках. Она часто выходила из себя и сгоряча наговаривала невесть что на любящих ее людей. Эта импульсивность характера передалась от матери: для них обеих творческий мир был несравненно выше всего остального. Так, любая критика в ее адрес или обычное несогласие с ее взглядами воспринимались Блаватской с неслыханной обидой, вызывали негодование, иронию и сарказм в отношении тех, от кого эти замечания исходили. Вместе с тем, как вспоминает сестра Вера, она была «в сущности предобрая, а только своевольна и насмешлива до крайности». Мать и дочь жили по особым меркам. Думается, что втайне они относили себя к аристократкам духа. Мать и дочь по-настоящему волновала одна мысль, которую они не решились бы произнести вслух, – найдут ли их произведения свое место в России будущего?

Отец также боготворил и баловал свою любимицу – старшую дочь. Петр Алексеевич позволял ей делать, что вздумается. И девочка словно сорвалась с привязи, стала заносчивой и дерзкой. При неблагоприятном стечении обстоятельств такая вседозволенность обязательно принесла бы совсем горькие плоды, не будь бабушки Елены Павловны, которая пыталась обуздать капризный и своенравный характер внучки.

Труженица, она и детей своих приучила не бить баклуши, всех поставила на ноги. Сын Елены Павловны, Ростислав Андреевич Фадеев, впоследствии артиллерийский генерал, был видным деятелем в славянских землях и известным военным писателем 70—80-х годов XIX века. Образованный и остроумный, он неудержимо привлекал к себе людей. В дяде Ростиславе, да еще в сестре Вере, а в более поздние годы и в ее детях, Елена Петровна очень нуждалась. Только они питали и поддерживали ее героическое и романтическое жизнелюбие. Ее любовь к миру, всеохватная и грандиозная, утверждалась большей частью в отстраненности от каких-либо личных привязанностей. Только родные составляли исключение.

Для понимания психологии Елены Петровны и ее матери весьма существен один момент: их как бы одновременное пребывание в двух реальностях – художественной и повседневной, бытовой.

Для матери такая двойственность положения обернулась трагедией. В повести «Идеал» героиня видит выход из сложившейся ситуации в вере и приобщении к Богу: «...я постигла, наконец, что если женщина по злой прихоти рока или по воле, непостижимой для нас, получает характер, не сходный с нравами, господствующими в нашем свете, пламенное воображение и сердце, жадное любви, то напрасно станет она искать вокруг себя взаимности или цели существования, достойной себя. Ничто не наполнит пустоты ее бытия, и она истомится бесплодным старанием привязаться к чему-нибудь в мире. Неземные привязанности могут удовлетворить ее жажду. Ее любовью должен быть Спаситель, ее целью – небеса».

Для самой Блаватской этот путь – заведомо тупиковый, она не уповает на милосердие Божие. Церковное христианство, как она позднее полагала, не способно более управлять человеческой совестью. Этот отход от церкви произошел, разумеется, не в детские и отроческие годы Елены Петровны, а значительно позднее, в годы ее странствий по миру. И все-

таки зерна бунта против христианской веры появились тогда, в конце сороковых годов, и были порождены одной из малопривлекательных черт ее характера – своеволием.

Вот почему Блаватская нередко позволяла себе кощунствовать, юродствовать и лукавить. По воспоминаниям сестры, она еще с детства примеряла роль сокрушительницы привычных духовных устоев, используя для этого «красноречивую откровенность». Вне христианства Блаватская жила авантюристически вольготно, а последние шестнадцать лет своей жизни всецело увлеклась конкретным делом: оформляла свои мистические прозрения в определенную организацию, в иерархическую и жесткую систему, в новую церковь – Теософическое общество. Поэтому-то не стоит, читая ее письма соотечественникам или работы, в которых есть упоминание о христианстве, выковыривать из них, как изюм из сдобной булки, христианские максимы. Не была Елена Петровна Блаватская христианкой! Как это ни печально. Уже с середины 60-х ее потянуло в мир совершенно других духовных авторитетов.

С ранних лет Блаватская стремилась к духовному и умственному общению – наиценнейшему дару русского человека. По ряду причин сугубо семейного, личного характера такое общение постепенно вырождалось в демонстрацию ее оккультных способностей.

Последовательница учения Блаватской, известная русская теософка Е. Ф. Писарева, основываясь на воспоминаниях В. П. Желиховской, которые относятся к детству Елены Петровны, была убеждена в том, что «Блаватская обладала ясновидением; невидимый для обыкновенных людей астральный мир был для нее открыт, и она жила наяву двойной жизнью: общей для всех физической и видимой только для нее одной! Кроме того, она должна была обладать сильно выраженными психометрическими способностями, о которых в те времена на Западе не имели никакого представления. Когда она, сидя на спине белого тюленя и поглаживая его шерсть (в зоологическом музее Е. П. Фадеевой в Саратове. – А. С.), рассказывала детям своей семьи о его похождениях, никто не мог подозревать, что этого ее прикосновения было достаточно, чтобы перед астральным зрением девочки развернулся целый свиток картин природы, с которыми некогда была связана жизнь этого тюленя.

Все думали, что она черпает эти увлекательные рассказы из своего воображения, а в действительности перед ней раскрывались страницы из незримой летописи природы».

Многие волшебные и чудесные истории из жизни Блаватской дошли до нас в меньшей степени из рассказов очевидцев – ее сестры Веры и тети Надежды, а в значительно большей степени – от двух соратников Елены Петровны по теософской деятельности: американца Генри Стила Олкотта и англичанина Альфреда Перси Синнетта. Понятно, что Блаватская, создавая Теософическое общество и утверждая в нем свой культ, эти рассказы им сама и озвучивала, когда находилась в приятном расположении духа и в приподнятом настроении. В хорошей компании, при заинтересованных слушателях она часто давала необузданную волю собственной фантазии. А потом уже эти мифы стали кочевать из одной теософской книги в другую.

В историю тюленя еще можно было бы поверить, в ней нет ничего сверхъестественного, а вот во многие другие, например, связанные с духом Теклы Лебendorф из Норвегии, под диктовку которой девочка Лёля записывала сообщения с того света, и ее сумасшедшим, живущим в Берлине сыном – увольте! Еще к этому добавим, что племянник Теклы Лебendorф находился рядом с Лёлей, он служил в полку ее отца. Но так или иначе подобные свидетельства оккультных способностей Елены Петровны Блаватской, изложенные Синнеттом и опубликованные при жизни основательницы теософии в 1886 году, переносят нас в ее мифологизированное детство. Ведь у великих и святых людей их сверхъестественная одаренность, как полагают агиографы, проявляется чуть ли не с пеленок. И с этим заявлением приходится считаться.

В общении Блаватской с природой и людьми соседствовали детская наивность и определенный расчет: она любила подурачиться, однако все свои проделки и проказы пыталась объяснить серьезными причинами. И это качество она унаследовала от отца: Петр Алексеевич мог обескуражить человека каким-нибудь ехидным замечанием или ироническим поворотом мысли.

Лёля была храброй до безрассудства, и в то же время ее нередко охватывал безотчетный страх. Может быть, этот страх был порождением ее галлюцинаций? Ее часто преследовали, как она признавалась, ужасные, светящиеся глаза. Она шарахалась подчас от неживых предметов, уверенная в том, что это недобрые «привидения», которые способны причинять вред. Она забалтывала детей невероятными историями, преподнося их таким образом, словно была в них главным действующим лицом. Она произвольно творила мир, словно держала перед глазами калейдоскоп и встряхивала разноцветные битые стеклышки – получались волшебные, завораживающие узоры.

Ей никогда не приходило в голову, что участниками этих удивительных и смелых фантазматорий были не куклы, а живые люди. Но чего не сделаешь, на что не пойдешь ради общения с неизведанным!

Настоящие приключения между тем ждали детей не в саратовской резиденции губернатора, а в загородном доме, в одной из так называемых двух дач, куда семья Фадеевых перебиралась ближе к лету. «Дом был старинный, каменный, с расписными потолками в цветах и амурах; с двумя балконами, опиравшимися на толстые колонны, с густым сиреневым палисадником. Один балкон спускался в него боковыми ступеньками; другой, побольше, выходил к трем густым липовым аллеям, которыми начиналась роща. Невдалеке аллеи эти перерезывал провал, все увеличивавшийся от дождей и превращавшийся далее, влево, в глубокий овраг, приводивший к Волге» – так Вера Петровна Желиховская описывает большой летний губернаторский дом, находящийся на опушке леса, практически на окраине города. Более подробно она описывает этот дом, оставивший в ее памяти незабываемое впечатление, во второй книге своих воспоминаний «Мое отрочество». Такое ощущение, что его она видит глазами старшей сестры: «...в одной из зал было чудное эхо, а на потолке была нарисована красивая женщина, вся в цветах, которая, как я подозревала, сама откликалась на мой голос. Это был действительно огромный дом, где несмотря на вечную суетолюку гостей все же много комнат, в особенности в верхнем этаже, оставались незанятыми. А уж о его подвальном этаже ходили целые легенды: о несчастных, которых *кто-то когда-то* будто бы морил голодом, мучил пытками в этих маленьких темных комнатах на сводах, о том, что и поныне слышны по ночам их плач и стоны и что многие ведали там привидения и разные страхи».

Это громадное здание настолько много значило в их детстве и отрочестве, что сестра Елены Петровны пытается вновь и вновь восстановить в памяти все его архитектурные особенности. Это был роскошный барский дом «с подземными галереями, давно покинутыми ходами, башнями и укромными уголками. Это был скорее полуразрушенный средневековый замок, чем дом постройки прошлого века. Нам было разрешено в сопровождении слуг обследовать эти старые «катакомбы». Мы в них нашли больше битого бутылочного стекла, чем костей, и больше паучьих сетей, чем железных цепей, но в каждой тени, отраженной на стене, нашему воображению чудились какие-то духи. Однако Елена не ограничивалась одним-двумя посещениями, оказалось, что это страшное место она сделала своим убежищем, где укрывалась от учебных занятий. Много времени прошло, пока это убежище не было обнаружено. Каждый раз, когда Елена исчезала, на поиски ее посылали большую группу прислуги во главе с тем или иным «жандармом», человеком, который не побоялся бы выловить ее силой. Из сломанных столов и стульев она соорудила в углу, под окном, закрытым решеткой, некое подобие башни. Там она долго пряталась, читая книгу с разными легендами, которая называлась «Мудрость Соломона». Раза два ее лишь с большим трудом уда-

лось найти где-то в сыром коридоре, так как, стараясь избежать погони, она зашла в лабиринт и там заблудилась. Но это ничуть не испугало ее, ибо она утверждала, что никогда не бывала там одна, а всегда в обществе своего «маленького горбуна» – ее товарища по играм. Она была сверх меры нервной и чувствительной, во сне громко говорила и часто ходила во сне. Случалось, что ее находили ночью, крепко спящей в далеких от дома местах, и когда ее уносили наверх в ее комнату, то она при этом не просыпалась. Однажды, когда ей было двенадцать лет, ее нашли в таком состоянии в одном из подземных коридоров, разговаривающей с каким-то невидимым существом. Лёля была совершенно необыкновенной девочкой, по природе двойственной: с одной стороны – боевой, озорной, упрямой, с другой же стороны – мистически настроенной, со стремлением ко всему метафизическому. Ни один мальчишка школьного возраста не был таким озорным, совершающим самые невероятные проказы, какой была Лёля. Но когда кончались шалости, ни один ученый не мог быть более прилежным в своих занятиях. Ее нельзя было оторвать от книг, которые она глотала днем и ночью. Казалось, вся домашняя библиотека не сможет удовлетворить ее жажду знаний».

Мир невидимых существ, обитавших в пределах этого дома, неудержимо привлекал девочку. Эти сливающиеся с прозрачным воздухом духи полей и лесов, прячущиеся по темным углам домовые и гномы сделались единственными ее товарищами по играм и забавам. В свой круг она еще включала вольных птиц, а также чучела различных животных, находящиеся в бабушкином музее. Голуби ворковали ей таинственные сказки. Чучела рассказывали невероятные истории из собственной жизни. В их компании она готова была оставаться с утра и до вечера, не будь других дел.

Понемногу она овладевала, как она внушала сестре Вере, колдовской силой, позволяющей слышать голоса неживых предметов: фосфоресцирующих пней, лесистых холмов, придорожных камней, деревьев, рек и озер. По вечерам она укладывала спать голубей, как это описывалось в ее любимой книге «Мудрость Соломона», и голуби на ее руках в самом деле успокаивались – затихали, словно одурманенные. Блаватская с детских лет верила в перевоплощение, как нынче говорят, в реинкарнацию. Возможно, тому способствовали русские сказки, которые рассказывала старая няня, бабушка Настя. В этих сказках люди легко и естественно превращались в зверей, становились оборотнями. Верила Лёля и в ковры-самолеты, в общение на расстоянии через волшебное зеркало, и в возрождение из мертвых с помощью живой воды.

Сказки, на ее взгляд, как нельзя точно и правдиво отражали действительно происшедшие события. Другое дело, что в старину люди, которые владели магическим искусством, так называемые волшебники, встречались почти на каждом шагу, а теперь их днем с огнем не сыщешь, – делилась она своим открытием с Верой и другими детьми. Теперь же остались единицы, продолжала Лёля, которые скрываются в каких-то укромных местах. В качестве доказательств своей правоты Лёля указывала на столетнего старца, жившего в лесном овраге неподалеку от их дачи. Как говорили люди, этот старец по прозвищу Бараний Буерак был настоящий ведун и знахарь. Он занимался врачеванием, ставя на ноги совершеннейших доходяг. Лекарством служили полевые и лесные травы, целебные свойства которых он досконально знал.

Об этом старце ходили слухи, что он умеет предсказывать будущее. Жил тайновидец скромно, в отапливаемой по-черному избушке, когда же появлялся на людях, увешанный с ног до головы роями пчел, то представлял сногшибательное зрелище. Казалось, Бараний Буерак выучил пчелиный язык, а монотонное жужжание воспринимал как осмысленную речь.

Для Блаватской старец, как она рассказывала Синнетту, был толкователем языка птиц, животных, насекомых. Она усердно вслушивалась в его бормотание. Старец приветил

девочку. Часа два-три в день Лёля проводила у него, была на побегушках: то принесет старцу воду, то отроет коренья целебных растений, то растопит печку.

Она присматривалась к приготовлению лекарств, запоминала, какая трава от чего лечит.

Дворня Фадеевых уверяла барышень, что старец спятил и несет бог знает что, но девочки только отмахивались; и мало-помалу между ними и старцем установилось взаимопонимание. Он не раз предсказывал Лёле завидную судьбу: «Эта маленькая барышня совсем не такая, как вы. Ее ждет большое будущее. Жаль, что я не доживу до той поры, когда исполнятся мои предсказания, но исполнятся они непременно».

Так и представляешь, что, сказав это, столетний мудрец, словно утомленный способностью прозревать будущее, прищуривал один глаз и замирал, предаваясь глубокому размышлению. Напоследок, стрельнув отуманенным глазом в сторону девочек, он делал неопределенный жест рукой, то ли на что-то их благословляя, то ли прогоняя прочь. Вскоре по прерывистому, тяжелому дыханию, очень напоминавшему храп, становилось ясно – до него уже не достучаться. Он становился слепым, глухим и неподвижным, как кусок дерева.

С помощью старца Лёля надеялась увидеть вещие сны. Но что могли дать эти сны маленькой фантазерке, которая грезил наяву и вольготно чувствовала себя в подземных таинственных галереях дома, где находились, как она рассказывала, кости доисторических чудовищ и где под наблюдением преданного ей горбуна хранились помогающий восстановить утраченную молодость бальзам, приготовленный из растертых язычков ядовитейших змей, а также дрова, нарубленные магами Востока и дарующие вечное тепло, не говоря уже о множестве других престранных волшебных вещей?

Ни сестра Вера, ни юная тетя Надежда не осмеливались ей возражать. Они боялись ее каталепсических припадков, когда она на время казалась очоковевшей. Кожа у нее становилась нечувствительной, и закатывались глазные яблоки. После одного из таких припадков она овладела, как призналась Синнетту, автоматическим письмом: способностью бессознательно фиксировать на бумаге получаемую из непонятных источников информацию. Именно такую мистическую картину своего детства в Саратове и его окрестностях представила Синнетту Блаватская.

Совершенно иначе, правдоподобнее, реалистичнее описывает, например, того же столетнего старца ее сестра Вера Петровна Желиховская: «Из дальнейших прогулок я больше всего любила поездки на гору Увек, потом в чье-то красивое имение, называвшееся Бараний Буерак, где на пасеке жил столетний старичок-пчеловод, угощавший нас огурцами со свежим сотовым медом».

Без сомнения, мистический портрет старца кисти Блаватской, который предсказывает ее будущее и в знак благодарности за этот провидческий дар получает от нее прозвище по названию имения, – это нескрываемое ерничество Блаватской. Но оно намного интереснее, чем сухая информация ее сестры. К тому же мы лишний раз по достоинству можем оценить насмешливый характер русской теософки.

Одно чрезвычайное событие, случившееся с Еленой Петровной еще в раннем детстве, как бы доказывало невидимое присутствие ее Хранителя. Именно с этого происшествия начался новый этап развития ее самосознания. Именно тогда, как она убеждала Синнетта, залегла в ее душу тяга к таинственному Востоку. Я же предполагаю, что в детстве Лёлю поразил один экзотический подарок, сделанный ее деду богатым калмыцким князем, – привезенный из Тибета халат из шелковой материи. Она часто видела его по утрам на деде, и этот халат давал пищу ее необузданной фантазии.

Елена Петровна вспомнила этот эпизод совершенно случайно, по привычке роясь в захламленном углу памяти, атакованная со всех сторон настырными журналистами. В то время Блаватская жила в Лондоне. Прогуливаясь по лондонской улице, а точнее, с трудом

передвигая больные отекие ноги, она наблюдала, как облезлые голуби жались к карнизам. Полуголодные птицы совсем не походили на отъевшихся голубей Соломона. Тогда-то она и вспомнила чудесный случай, происшедший с ней в дедушкином доме в Саратове и о котором она также не могла не рассказать Синнету. Все началось с того, что Лёля решила лучше рассмотреть портрет одного из предков.

Целая галерея ликов сановитых особ, их жен, сыновей и дочерей украшала лестницу, ведущую на второй этаж и в гостиную. С портретов смотрели люди из прошлых веков, ее близкие и дальние родственники. Один из портретов, висевший высоко наверху, был полностью закрыт лоскутом материи. Поставив на большой стол маленький и взгромоздив на них еще и стул, она с трудом взобралась на это шаткое сооружение. Опираясь о стену одной рукой и держась за край ткани другой, она какое-то балансировала на своем непрочном помосте, но в конце концов не удержалась на нем, поскольку стул соскользнул с маленького столика, и она с грохотом полетела вниз. Что случилось потом, она не помнила. Скорее всего, она какое-то время находилась без сознания. Придя в себя, она поняла, что лежит на полу. К ее удивлению, на ней не было ни царапины, а оба стола и стул стояли на прежних местах. О том же, что она действительно пыталась сорвать с портрета покрывало, что ей это не приснилось, свидетельствовали следы детских рук, оставленные на пыльной стене под портретом.

Жизнь Елены Петровны была непрерывным странствием, не всегда веселым путешествием за пределы заколдованного круга обыденности. Ради обретения духовной свободы она отказалась от привычного комфорта, от родного дома, от семьи. Годы бедности не прошли бесследно – к старости вконец замучили болезни. И все-таки жизнь Блаватской, как она сама считала, была исключительно удачливой, ведь ей удалось воспринять обыкновенное и необыкновенное, естественное и сверхъестественное в их едином слиянии.

По ночам ее, как и Ньютона, которого преследовал призрак солнца, окружали какие-то видения, до того ясные и отчетливые, что она с трудом отличала их от реальных предметов и живых лиц. Впрочем, при первом же прикосновении призраки быстро исчезали, растворялись в темноте.

Видения эти несколько не смущали. Напротив, они приводили ее в какой-то мечтательный восторг!

Она чувствовала острую жалость к себе – к той впечатлительной девочке из Саратова, душа которой была преисполнена смутных порывов и тоски. Когда же затянется эта ноющая рана непонимания, когда, избавившись от боли, она откроет в себе силу, разительную и великую?

Елена Петровна шла к самопостижению не спеша, и великая тайна раскрывалась перед ней как необозримый горизонт.

Как губка она впитывала в себя рассказы о любых странных и невероятных событиях, которые хранились в памяти людей или в саратовских хрониках: о какой-то женщине, родившей страшилище: по пояс – человека, а выше – нечто рыбе с отверстиями на голове вместо ушей. Или вот еще случай: хоронили умершую при родах молодуху, но вдруг заметили странные перемены в ее лице. Оно то бледнело, то покрывалось румянцем. Решили тело, не зарывая, опустить в землю, а для наблюдения приставили караул. В течение нескольких недель лицо умершей удивительным образом изменялось. Однако само тело не разлагалось. И вдруг в одно мгновение оно превратилось в прах! Как тут не потерять дар речи!

Да и в природе происходили смущающие умы феномены.

Особенно потрясли обывателей два явления: 26 июля 1842 года в Саратове наблюдалось затмение Солнца. Утро было пасмурным, дождливым, горизонт заложили темные облака. Мгла, исходящий от земли плотный туман, постепенно перемещаясь кверху, почти скрыли небо. Мрак давил, становясь с каждой секундой все гуще и гуще, и свет лишь тускло брезжил сквозь облака. Наконец окончательно смерклось и наступила полная темнота: чер-

ный круг неведомого тела почти полностью поглотил Солнце, лишь верхний тонкий край его продолжал едва светиться.

А через три года с 25 мая по 2 июня в северной части неба над Саратовом зависла и не исчезала комета. Ядро ее было будто туманным, но она четко обозначалась среди звезд. Неровные и бледные лучи ее хвоста протягивались от горизонта вверх.

Еще одно небесное явление, зрителями которого стали жители Саратова, заставило задуматься о неисповедимости путей Господних. Местные жители были взволнованы появлением блуждающих огней и падением метеоритов. То и другое поразило их своим обилием. Метеориты падали на землю как-то странно и загадочно. Например, один из них выглядел, как овальный клуб дыма величиною с луну. Он на какое-то время завис в воздухе, а затем изменил форму и стал медленно опускаться на землю в виде белой струи, извиваясь зигзагами. Чудны дела Твои, Господи!

В духовной эволюции Елены Петровны Блаватской и затмение Солнца, и появление кометы сыграли определенную роль. Вторжение Космоса дало новый толчок развитию чудесных свойств ее души. Сны, грезы, фантазии, сколь ужасными и нелепыми они ни были, приобрели для нее вдруг вполне реальный смысл. Она нашла наконец им объяснение. Во сне душа ее выпархивала из тела и парила за пределами земной жизни, обозревая в медленном и долгом полете недоступную обычному зрению явь.

Отраженные одиноким сознанием, явления и предметы земной жизни обретали другое существование, словно перемещались в зеркало, или в воду, или в марево отполированного зноем воздуха.

Для того чтобы понять свои интуитивные прозрения, разобраться в существовании верховных законов природы, Елена Петровна обращалась к историческим событиям и небесным явлениям. Кометам, затмениям, бурям, ко всем устрашающе болезненным отклонениям от привычных форм жизни, ко всем противоречащим здравому смыслу, загадочным, странным и поразительным случаям – по аналогии с теми очевидными, предупреждающими, грозными знаками Провидения, которые, исчезая на время, неизбежно являлись вновь. Она пыталась, обострив до предела свою восприимчивость, отрывая себя от всего обыденного, повседневного, осознать и все, что происходило в ней самой, а осознав природу своего мировосприятия, обрести надежду, получить иллюзорную власть понимания почти невидимого, непознанного и столь удаленного от человека мира.

Мир этот был скрыт в манящей и таинственной дымке времени, где нельзя было отличить прошлое от настоящего и будущего.

Сам воздух саратовской земли, где прошел счастливый период отрочества Елены Петровны, был пронизан дурманящим и сладострастным духом иной, необыкновенной жизни.

Ее память хранила нежные воспоминания о близких людях, и эти воспоминания вполне соответствовали духу ее радужного семейного гнезда.

Думы об этих годах были также созвучны всему чудесному и мистическому в ее душе, являлись светом благодати в беспросветно-черном пространстве ее сомнений.

Она не любила рассказывать посторонним об этих будоражащих душу воспоминаниях, и даром. Она остерегалась навязчивых вопросов, избегала разумных объяснений загадки, дарованной Хранителем. Она целомудренно берегла в себе чувство очарования саратовской землей и не хотела говорить о даре ясновидения, который обнаружила в себе ненароком.

В России пифия возвращается не торжественным и молчаливым храмом, а рассерженной толпой, кричащим разноголосым базаром.

Это в одном случае, а в другом – одиночеством, однообразным существованием, головной болью, изжогою, воздухом уныния, надоедливыми комарами и мухами.

Ее предвидения и предчувствия тревожили, заставляли насторожиться. Однажды она уверила мальчишку, встретившегося на берегу реки, что его защекочит русалки, и он утонул.

Она пыталась шутками издеваться над глупостью, но вызывала в ответ только ненависть и страх. Ее племянница, Надежда Владимировна Желиховская, сумела оценить смешливый характер Блаватской: «У тети была удивительная черта: ради шутки и красного словца она могла насочинить на себя что угодно (и про мальчишку тоже? – А. С.). Мы иногда хохотали до истерики при ее разговорах с репортерами и интервьюерами в Лондоне. Мама (В. П. Желиховская. – А. С.) ее останавливала: «Зачем ты все это сочиняешь?» – «А ну их, ведь все они голь перекатная, пусть заработают детишкам на молочишко!» – А иногда и знакомым своим теософам в веселые минуты рассказывала, просто для смеха, разные небывальщины. Тогда мы смеялись, – но с людской тупостью, которая шуток не понимает, из этого произошло много путаницы и неприятностей».

Здесь, в Саратове, она обрела уединение, которого не знала никогда прежде. Лёля любила верховую езду. Однажды в галопе лошадь сбросила ее наземь. Поскольку нога девочки запуталась в стремях, ее некоторое время волочило по земле, и она неминуемо расшиблась бы, если бы в тот момент какая-то неведомая сила не приподняла ее над землей и не остановила на скаку испуганную лошадь. Именно тогда на какую-то долю секунды она увидела свою девическую мечту: это был индеец в белых одеждах, в чалме, высокий и прекрасный. Прежде он являлся ей только в снах, а сейчас, как и надлежало доброму ангелу, возник в роковую минуту и спас ее.

Спустя много лет после этого события Блаватская вспоминала, что, спасенная кем-то ей неизвестным, она перестала чувствовать под ногами землю. Потрясенная случившимся, Лёля опустила глаза и ахнула: она медленно поднималась вверх, словно за спиной у нее выросли крылья. Волна огромного, неизбывного счастья – нашелся человек, которому есть до нее дело, – подхватила ее и понесла в заоблачную даль, опровергая закон всемирного тяготения и доводы обыденного рассудка. Она обрела опору в самой себе. Через девять лет она узнает его в лондонской толпе, он станет ее Учителем, ее Покровителем и откроет врата восточной мудрости. В своих сочинениях она увековечит его имя – Мория.

Ее дух воспарит, имея под собой твердую почву знаний.

История с лошастью и появившемся неизвестно откуда спасителем в белых одеждах – отправная точка мифа Блаватской о «гималайских учителях» и их Братстве. Если от некоторых других сюжетов своей оккультной эпопеи она отказывается, словно их забывая, то в отстаивании этого наваждения непоколебима, а ее цинизм, не важно – подлинный или напускной, отступает, когда речь заходит об Учителе Мории, или о Кут Хуми Лал Сингхе, или о ком-нибудь еще из Гималайского братства. В ее книге «Из пещер и дебрей Индостана» Мория и Кут Хуми Лал Сингх представлены под обобщающим именем Такура Гулаба Лалла Сингха. В письмах восьмидесятых годов своему старому знакомому, царскому вельможе князю А. М. Дондукову-Корсакову, которые большей частью столь же откровенно-простодушны, как ее письмо в Третье отделение, она, учитывая христианскую ортодоксальность адресата, не забалтывает его рассказами об оккультных феноменах. Но даже в этих сугубо личных письмах (Е.П.Б. ясно осознает, с кем имеет дело) есть довольно подробная информация о ее духовном Учителе и взаимоотношениях с ним: «Несколько недель провела в Одессе у своей тети госпожи Витте, которая по-прежнему живет в этом городе. Там я получила письмо от одного индуса, с которым при весьма необычных обстоятельствах познакомилась в Лондоне 28 лет назад и который убедил меня предпринять мою первую поездку в Индию в 1853 году. В Англии я виделась с ним лишь дважды, и во время нашей последней встречи он мне сказал: «Судьба навсегда свяжет вас с Индией, но это произойдет позже, через 28–30 лет. Пока же поезжайте и познакомьтесь с этой страной». Я туда приехала, почему – сама не знаю! Это было словно во сне. Я прожила там около двух лет, путешествуя, каждый месяц получая деньги неведомо от кого и честно следуя указанным мне маршрутом. Получала письма от этого индуса, но за эти два года не виделась с ним ни разу. Когда он

написал мне: «Возвращайтесь в Европу и делайте, что хотите, но будьте готовы в любой момент вернуться», – я поплыла туда на «Гвалиоре», который у Мыса потерпел кораблекрушение, однако меня и еще десятка два человек удалось спасти. Почему этот человек приобрел такое влияние на меня? Причина мне до сих пор не ясна. Но вели он мне броситься в пропасть – я бы не стала колебаться ни секунды. Я побаивалась его, сама не зная почему, ибо не встречала еще человека мягче и проще в обращении, чем он. <...> Теперь он навсегда покинул Индию и поселился в Тибете (куда я могу отправиться, когда захочу, хотя, уверяю вас, туда ни за что не проникнуть ни Пржевальскому, ни кому-либо из англичан), и из Тибета он переписывается с англичанами из нашего Общества, которые по-прежнему целиком находятся под его таинственной властью <...> Если вам захочется узнать побольше об этом человеке, то, когда будет время, прочтите «В дебрях Индостана». Вещь напечатана в «Русском Вестнике», где я выступаю под псевдонимом Радда-Бай. Пусть они вышлют вам ее отдельной брошюрой. Мой индус представлен там под именем Такур Гулаб Сингх. Из этой книги вы узнаете, чем он занимался и какие необычайные явления связаны с ним».

История с лошастью и спасителем, не раз рассказанная Еленой Петровной своим соратникам по теософскому движению, произошла также с ее сестрой Верой, хотя в этом случае сестру спас не появившийся неизвестно откуда индеец, а обычный кучер. Обратимся к воспоминаниям Веры Петровны Желиховской: «...я уж мечтала об амазонке, – еще бы! Ведь мне уже шел одиннадцатый год, я себя чувствовала взрослой барышней! На четвертой моей верховой прогулке я, должно быть, уж очень расхрабрилась, дернула поводья, прищелкнула языком; моя лошадка поднялась в галоп, мигом оставила позади себя сопровождавших мне проводников, казака и денщика дяди Росте, и, повернув без моего на то желания, поскакала прямехонько к своей конюшне. Должно быть, она почуяла, что с таким седоком нечего время терять и церемониться, и решила возвратиться к стойлу.

Если бы я не растерялась и не бросила поводьев, чтоб уцепиться за луку, она, наверное, остановилась бы при малейшем движении уздечки; но я сама ее оставила на произвол, своими криками только еще более ее возбуждая бежать скорей. Бежавшие сзади люди тоже кричали, но догнать, понятно, не могли. К счастью, кто-то из кучеров, увидав, в чем дело, побежал наперерез и схватил мою лошадку под узцы у самой конюшни. Я говорю *к счастью* потому, что не догадайся я или не успею пригнуться в ту минуту, как она вбежала бы в ворота, я могла бы сильно разбиться, слететь с седла, пожалуй, даже и убиться, если бы лбом ударились о балку ворот!.. Этого не случилось; меня сняли с седла невредимой, хотя перепуганной и сильно сконфуженной; но тем не менее мои уроки верховой езды были отложены на неопределенное время, а мои мечты об амазонке рассеялись, исчезли в тумане дальнего будущего...»

Правдоподобность этого рассказа сомнений не вызывает. Кто пытался когда-либо научиться верховой езде, попадал в ситуации более сложные. Очень трудно допустить, что подобное происшествие, случившееся с Верой Петровной в детстве, тогда же для всех членов семьи Фадеевых, Ган и Витте не стало событием наиважнейшим. В их семейном кругу, я убежден, его рассматривали со всех сторон, охали, переспрашивали друг друга, как такое могло произойти, радовались счастливому исходу. Однако читая об этом случае в воспоминаниях Желиховской, не испытываешь мистического трепета. Воспринимаешь его как факт семейной хроники, не более того. Другое дело, когда в российской глуши на мгновение появляется индус в чалме, совершает благородный поступок и тут же исчезает, чтобы спустя несколько лет появиться в лондонской толчее. Не правда ли, интригующий сюжет? Существовала, впрочем, одна загвоздка: как сделать так, чтобы в эту душераздирающую волшебную историю поверили десятки тысяч людей? У Елены Петровны Блаватской это в конце концов получилось. На то ведь она и харизматическая фигура!

Похоже, что длительная поездка вместе с дядей Ростиславом Андреевичем в 1844 году к его старым друзьям, калмыцким князьям, в степь, а оттуда в киргизскую орду к его знакомому князю Джангиру подвела черту под детством Елены Петровны. Началась другая, взрослая жизнь, отягощенная трудностями становления ее личности и обретения общего языка с окружающим миром. Пришло отрочество.

Впервые Блаватская увидела шамана во время путешествия с дядей Ростиславом. Шаман кривлялся, кружился, плясал, почти задушенный надетой на него волчьей шубой, затем упал в изнеможении и с пеною у рта. Он переступил роковой предел, созерцая прошлое и будущее. Она вспомнила слова Плиния Старшего: «Ни одна наука в древности не пользовалась таким уважением и не была так прилежно изучаема, как магия». Ее любимый Вольтер также понимал суть дела, заявляя, что «все верили в магию. Учение о духах и магии распространено по всей земле».

Это путешествие (в тринадцать лет) позволило заглянуть за черту горизонта ее культурного мира.

Сила человеческого духа и есть основа, альфа и омега творимых на земле чудес.

И это еще была не вся правда. Позднее Блаватская читала у знаменитого Парацельса о мировом свете. О том, как невидимый свет, поступательно колеблясь, изливаясь от насыщенных им центров, дает движение и, соответственно, жизнь всем предметам. Он существует в звездах, в животных, в людях, в растениях, в минералах. Этот свет, как ваятель, творит все формы многообразной природы. Это еще было понятно. Куда труднее оказалось принять другое: в человеке есть звездное (астральное), внутреннее тело, которое при определенных условиях настолько расширяется, что переходит на внешние предметы, образуя с ними тесную взаимосвязь. Подобный магический эффект был известен издавна, а в XIX столетии он получил название животного магнетизма.

И уж совсем немыслимо было признать, что в ней самой пробуждается, брызжет живительным светом звездное (астральное) тело.

Но так и было! В Саратове она впервые почувствовала как бы легкое жжение внутри себя.

Саратовский край представил ей философию истории в образах и красках наиболее естественных и запоминающихся: в курганах, в волжских утесах, в подвиге ее пращура князя Михаила, в былинах, поверьях и сказках, в пастельных переливах небесного свода, в акварельной размытости речной волны.

Саратовская земля являла для впечатлительной и мечтательной девочки с нежной и чуткой до чрезвычайности нервной организацией сакральное или заповедное пространство.

Именно здесь творились чудеса. В саратовской степи явился перед ней индеец в ослепительно белых одеждах с широким золотым поясом, с длинными черными волосами и в белоснежной чалме. Он спас ей жизнь и – что совсем непостижимо – усмирив норовистого, бьющего копытом коня, наделил его памятью и способностью понимать сумбурную человеческую речь. Она имела возможность в этом неоднократно убеждаться.

Из своего лондонского далека она вдруг осознала, что оставила родину не потому, что возненавидела ее, а потому лишь, что устала постоянно перемещаться из огня да в полымя.

Борис Михайлович Эйхенбаум трактовал индивидуальное творчество как акт осознания себя в потоке истории. Если применить эту формулу известного литературоведа к личности Елены Андреевны Ган и ее дочери, придется ее чуть-чуть переиначить. Для них творчество было осознанием себя в контексте вечных, вневременных истин, только у Е.А. Ган эти истины более живые, не столь отвлеченные, как в сочинениях ее дочери. Тяжелая болезнь, протекающая неровно и оставляющая надежду на излечение, приучила ее смиряться перед Божьей волей, терпеливо нести свой крест.

У Блаватской никакого смирения и в помине не было. Она верила, впрочем, в некий Промысел, имеющий власть над жизнью каждого. Однако Елена Петровна возводила эту направляющую судьбу человека силу к кармическим закономерностям. Она знала, что ни одна вера, ни одна религия не в состоянии заполнить пустоту, образующуюся в сознании смертного человека, который оказывается перед лицом бесконечной Вселенной, перед вечным, неиссякающим потоком жизни.

Особые, неровные отношения, строящиеся по принципу «любовь – ненависть», сложились у Лёли с ее старшей тетей. Екатерина Андреевна взяла заботу о детях своей умершей сестры, выделяя Лёлю как наиболее сообразительную и взрослую. Какое-то время та была, как я уже отмечал, ее любимицей.

Иными словами, Лёля, пользуясь своей безнаказанностью, казалось, почти полностью подчинила себе Екатерину Андреевну. Мадемуазель Антония Ключевейн в воспитание Лёли не вмешивалась. Ее подопечными были Вера и маленький Леонид. Можно предположить, что воля, которую предоставила Блаватской ее тетя Екатерина Андреевна, со временем незаметно обернулась своеволием – метаморфоза, никоим образом не входившая в педагогические планы воспитательницы. Лёля начала раздражать Екатерину Андреевну еще и тем, что поведение свое она окружала какой-то непонятной тайной, а как говорил Байрон, «где есть тайна, там предполагается обыкновенно и зло».

Однако время было упущено. Девушка развивалась по нравственным законам, ею самой и созданным. На ее представления о морали, о добре и зле, об идеале красоты влияли книги, которые она читала запоем. Друзья-книжки уводили ее в область мечтаний, увлекали в мир высоких чувств и благородных героев. Это были книги ее матери, которые перешли к детям по наследству.

«Тут была чуть ли не вся старая и новая литература европейских народов – и Гомер, и Дант, и Шекспир, и Байрон, и Софокл, и Шиллер. Солидное место занимал Пушкин. Тут же были стихи Жуковского, Козлова», – писала по воспоминаниям близких семьи Фадеевых и Ган первая исследовательница творчества Блаватской Е. С. Некрасова.

К этим книгам добавим масонские сочинения и трактаты по алхимии на русском, французском, английском, немецком языках из библиотек прадеда, князя Павла Васильевича Долгорукова и маркиза Адольфа Францевича Бандре дю Плесси, французского деда бабушки Елены Павловны, а также любовные романы, которые Лёля тайно похищала у той же самой тети Кати. Книг для детей в то время практически не издавали. Отрадное исключение составляли стихотворные сказки Пушкина о царе Салтане и спящей красавице. Для девочек любимыми рассказами были «Утопленница» и «Пиковая дама» Пушкина и «Вий» Гоголя. На французском и немецком языках детских книг издавалось куда больше. Допоздна они зачитывались сказками Гофмана. Вера Петровна также вспоминает о детском журнале «Звездочка».

Екатерина Андреевна Фадеева, выйдя замуж в 1844 году, продолжала неотлучно жить с ними долгое время в Саратове и Тифлисе. Ее мужем стал агроном Юлий Федорович Витте, происходивший из семьи датских лютеран и служивший под началом ее отца-губернатора. По настоянию будущей жены он перешел в православную веру. Ю. Ф. Витте занимал должность управляющего хозяйственной фермой ведомства государственных имуществ.

Эта ферма находилась за Волгой в восьмидесяти верстах от Саратова.

Сестра Вера писала о нем:

«Мы все, и старшие, и дети, его ужасно полюбили, потому что он такой сердечный, добрый, искренний человек, что, зная его, нельзя было его не любить».

Но так уж получилось у Блаватской, что равноправное, идейное «общение» складывалось не с членами ее семьи, а с теми, кто как бы и не существовал вживе, во плоти, – кого рождала ее бурная фантазия.

Мистическая жизнь Лёли оказалась непонятной взрослым родственникам, и девушка пестовала свое одиночество, поскольку именно в нем сохранялась возможность существования ее внутренней, своеобразной жизни.

Итак, уже в юные годы Елена Петровна начала осознавать себя особенной личностью. Реальная жизнь казалась ей не настоящей: это была ярмарка тщеславия, скучная и презренная. Овеществленная пустота, которая приводила в содрогание ее мать. Нет, она не хотела просто плыть по течению. Ей необходимы были любовь и доброта, красота и гармония, обрести которые она могла лишь внутри себя.

Лёля уже не различала: она ли жила в видениях или видения в ней. Прочитанное странным эхом отозвалось в ее сознании и душе. Вымысел смешался с реальной жизнью – навсегда, до самой смерти.

Лёля, когда ей было лет пятнадцать, вместе с сестрой Верой облюбовали удобное местечко для чтения в доме за Волгой. В начале сентября с книгой в руках они забирались на гумно и, уютно «устроившись на мягкой соломе в одном из коридоров, образованных рядами высоких, как дома, правильных скирд», принимались за чтение. Мало кому из домочадцев пришло бы в голову искать их здесь, поэтому они могли не беспокоиться, что кто-то их потревожит. Лёля, как вспоминает сестра Вера, уже зачитывалась дозволенными и недозволенными любовными романами. В случае своего обнаружения она могла спрятать книгу в карман под верхнее платье или зарыть на время в солому.

Глава седьмая

На пороге взрослой жизни

Деятельность Андрея Михайловича Фадеева в его должности гражданского губернатора не получила должного одобрения у высокого начальства в Петербурге. Тревоги и служебные неприятности, как тогда говорили, были предвестием серьезных изменений в его чиновничьей карьере. Нашла коса на камень – так можно охарактеризовать его отношения с новым непосредственным начальником – министром внутренних дел Львом Алексеевичем Перовским, в наше время больше известным в связи со своей внучатой племянницей, революционеркой-народницей Софьей Львовной Перовской.

Конфликты с министрами заканчиваются либо отставкой нижестоящего чиновника, либо назначением его на новую должность. Все зависит от того, есть ли у жертвы начальственного произвола вельможные заступники.

А. М. Фадеев не выдержал несправедливых придинок желчного Л. А. Перовского и подал прошение об отставке, которую немедленно получил. Он надеялся на хорошее к себе отношение графа Павла Дмитриевича Киселева, министра государственных имуществ, любимца двух императоров – Александра I и Николая I. До обострения конфликта с Перовским тот неоднократно приглашал А. М. Фадеева перейти в его министерство. Однако на этот раз граф полностью устранился от судьбы отправленного в отставку губернатора. Он только что возвратился из-за границы и узнал, что его жена графиня София Станиславовна Киселева, урожденная Потоцкая, выслана из Петербурга за свои выступления против властей и симпатию к революционной польской эмиграции. Вот почему, как можно предположить, он не делал лишних телодвижений, предпочитая на какое-то время затаиться, быть в отдалении от императора.

Так оно происходило или по-другому, но макиавеллизм и свой эгоизм по отношению к А. М. Фадееву он проявил в полной мере. А. М. Фадеев вспоминал: «Он давал мне деликатным образом понять, что не может для меня сделать ничего, потому что Государь не любит, чтобы министры помещали у себя тех высших чиновников, коих не желают иметь другие министры, где они состояли на службе; и также не любит, чтобы они защищали таковых чиновников, сколь бы им ни была известна их невинность. Одним словом, он боялся высказывать Государю правду из опасения, чтобы не подвергнуться за то кривому взгляду. Хорош патриотизм государственного человека».

У Николая I существовали, по-видимому, серьезные основания для столь жесткой позиции к российским высшим чиновникам. В современную эпоху подобное самодержавное отношение к членам своей команды практически исключено. В наши дни ротация высших чиновников государства стала обычным явлением, но при этом ухитряются никого не обижать. А тогда, в те далекие и темные времена, можно было запросто выпасть из номенклатурной обоймы. Что же касается А. М. Фадеева, он, слава богу, вне службы оставался недолго. У него нашелся влиятельный защитник. Это был князь Михаил Семенович Воронцов, наместник Кавказа, у которого А. М. Фадеев служил в Одессе до своего назначения губернатором в Саратов. Он предложил Лёлиному деду должность, во всем равную губернаторской, а именно: войти в Совет Главного управления Закавказского края.

Граф П. Д. Киселев был настоящим царедворцем. Эти люди улавливают малейшие изменения в дворцовой атмосфере. Эту специфическую особенность ума или обоняния почему-то принято называть угрызениями совести великих мира сего, которые возникают всякий раз, когда резко меняется политическая конъюнктура. П. Д. Киселев не был исключением из общего правила и практически тут же предоставил А. М. Фадееву еще одну долж-

ность – заведующего делами по Министерству государственных имуществ в Закавказском крае.

Это был настоящий подарок судьбы. Одно лишь обстоятельство омрачило радость всего их большого семейства. Им пришлось находиться в разных частях России до тех пор, пока муж тети Кати, Юлий Федорович Витте, не получил новое место в Тифлисе. До этого ожидаемого назначения они жили порознь больше года. Лёля, Вера и Леонид вместе с семьей Витте оставались в Саратове на попечении Екатерины Андреевны. А бабушка с дедушкой и тетей Надей переехали в Тифлис. В Саратове жил их дядя Ростислав, молодой офицер-артиллерист, который ждал со дня на день своего перевода на Кавказ.

Они переселились за Волгу, где находилась ферма Юлия Федоровича Витте, а потом некоторое время перед отъездом в Тифлис снимали дом в самом Саратове. Как вдруг одно неожиданное событие резко изменило планы дяди Ростислава и заставило его подчиниться чужой воле. Что нежданно-негаданно обрушилось на его голову, об этом я расскажу чуть-чуть позднее. Как и о том, каким образом случившаяся с дядей Ростиславом неприятность изменила также ход жизни его старшей племянницы, тогда все еще чистой и простодушной девушки. В этой истории на авансцену выходят князь Эмилий Витгенштейн, графиня София Станиславовна Киселева и ее брат граф Мечислав Потоцкий. София Станиславовна Киселева вписалась в биографию Елены Блаватской содержательной и запоминающейся строкой. Эту строку не выкинуть из песни о жизни героини моей книги, какой бы в итоге эта песня ни сложилась. Бесспорно одно, что встреча Блаватской с Софией Станиславовной в самом начале ее долгих странствий по миру пришлась как нельзя кстати. Именно графиня долгое время уберегала Лёлю от многих необдуманных поступков, а также от неприятностей и опасностей, а с ними неминуемо сталкивалась в то время любая неопытная и самонадеянная молодая женщина, которую обстоятельства жизни вынудили оказаться вне Родины.

София Станиславовна родилась в семье польского магната графа Станислава Щенсного Потоцкого и гречанки Софии Главани Маврокордато де Челиче. Для ее отца графа Потоцкого это был третий брак, для матери – второй. Станислав Щенсный Потоцкий вошел в историю как лидер аристократической оппозиции, чья деятельность в защиту старошляхетских вольностей Речи Посполитой с целью укрепить власть магнатов в ущерб королевской привела к третьему разделу Польши между Россией и Пруссией. Понятно, что поляками Станислав Потоцкий и его соратники рассматривались как предатели польского народа. Мать Софии Станиславовны – великолепная София, происходящая из простого сословия, достигла положения высокопоставленной дамы благодаря необыкновенной утонченной и экзотической красоте, уму и способности сводить с ума мужчин. Фортуна действительно ей благоприятствовала. Ее по праву считали самой красивой женщиной Европы, и она была всегда желанной особой при дворе трех королей: польского – Станислава Августа, прусского – Фридриха II и французского – Людовика XVIII, а также австрийского императора Иосифа II. Российская императрица Екатерина II относилась к ней с большим расположением и осыпала милостями, ведь она была ее тайным агентом и чрезвычайно содействовала в привлечении через Станислава Потоцкого на сторону России польской аристократической оппозиции. София-старшая вскружила голову многим мужчинам, среди ее любовников были послы и министры, и даже всемогущий князь Г. А. Потемкин-Таврический.

София младшая унаследовала многие внешние черты матери, а также ее ум и сообразительность, но не легкость поведения с мужчинами. Дочь, в отличие от матери, была благонаправленной и нравственной женщиной. София Станиславовна относилась, как и ее мать, к утонченным и одухотворенным натурам, была безупречной красавицей и пленила Пушкина с первых мгновений знакомства. Она подсказала ему сюжет «Бахчисарайского фонтана», крымскую легенду об одной из представительниц их рода – Марии Потоцкой.

Словно искупая вину отца перед Польшей, София-младшая непоколебимо стояла на том, что с поляками Россия обошлась не лучшим образом, и до самой своей смерти 2 сентября 1875 года в Париже не изменила своим свободолюбивым взглядам. Умирала эта выдающаяся женщина в полном одиночестве.

Долгое общение с Софией Станиславовной не могло пройти бесследно для Елены Петровны Блаватской. Оно, конечно, повлияло на стиль ее поведения – идти против течения и заставлять окружающих считаться с собой. Тут, впрочем, необходимо сделать одну оговорку. В общении с представителями российской власти Блаватская старалась не проявлять своего строптивого характера и всегда сохраняла особую осторожность. Может быть, этому научил ее горький жизненный опыт графини Киселевой.

Отец Лёли, Веры и Леонида, как всегда, находился где-то далеко, на очередных учениях. Теперь он был в чине ротмистра – рыжеволосый сорокасемилетний красавец, с седыми висками и мужественным лицом, испещренным морщинами. Лёля чувствовала прилив радости, когда он вырывался из полка и приезжал к ним. Однажды она оказалась в комнате отца. В углу, за ширмой, она увидела спинку простенькой кровати и на ней канифасный чистый халат. Находясь вне службы, отец обычно снимал мундир, переодевался в партикулярное платье. Каска с султаном сиротливо лежала на столе. Лёля почувствовала тогда, как у нее сжалось сердце.

Она целые дни думала о предстоящем путешествии. Ей хотелось уехать хоть к черту на рога – лишь бы подальше от всего, что хоть немного напоминало детство, тот подчиненный чужой воле уклад жизни, который ей окончательно опротивел. Она верила, что кавказское солнце возвратит ей вожделенную свободу, вернет к настоящей самостоятельной жизни. Лёля вдруг испытала неизъяснимую нежность и благодарность судьбе за то, что она родом из известной уважаемой семьи, что она хорошенькая и умная, что у нее еще все впереди. Однако ей был необходим совсем иной, загадочный и пестрый мир, центром которого она собиралась стать. Лёлю утомляло даже чтение. Она ждала этого путешествия как манны небесной и часами лежала на широком диване без всякого занятия, внимательно прислушиваясь к стуку собственного сердца.

В конце мая 1847 года Юлий Федорович Витте получил обещанную ему должность в Тифлисе в департаменте государственных имуществ на Кавказе, и они, собираясь в дорогу основательно и долго, больше месяца, наконец-то стронулись с насиженных мест. С Юлием Федоровичем ехали пароходом до Астрахани, откуда он возвращался опять в Саратов для передачи дел новому управляющему фермой. Их было девять человек: дядя Юлий, тетя Катя, их сын, Лёля и Вера, а также Антония и трое слуг. Обоз из двадцати человек прислуги пошел сухим путем с упряжными лошадьми в трех фургонах в Царицын, на Дон, а оттуда уже через Ставрополь на Северный Кавказ – во Владикавказ и до конечного пункта их путешествия – в Тифлис.

Как только они отплыли, в Саратове появились первые жертвы холеры. Но это еще не была эпидемия, Холерным стал год следующий – 1848. Его назвали годом малой холеры в отличие от холеры великой – 1830 года, времени, когда их мать Елена Андреевна Ган вынашивала Лёлю. Несмотря на то, что и в 1848 году холера выкосила немало народа, эпидемия была непродолжительной.

Они бежали от нее, но куда? В далекий чужой край, где не затихала война, где на дорогах шалили лихие люди, где воровали людей как скот и тут же перепродавали кому попало или же за выкуп возвращали родным, где по ночам местные жители грабили и убивали, а днем сидели в своих лавках, тихо, как ни в чем не бывало, и вдохновенно читали суры из Корана.

Путь в Тифлис оказался долгим, но не изматывающим и не однообразным. Сначала поплыли от Саратова вниз по Волге до Астрахани неуклюжим, колесным, купеческим паро-

ходом «Св. Николай», которым управлял приказчик в смазных сапогах. Пассажирские каюты использовались в пароходе для перевозки товаров, особых удобств, естественно, не предусматривалось. Существовали какие-то крошечные, косые, кривые, низенькие клетушки с ларями вокруг одной сравнительно большой каюты. В нее-то и набилась вся путешествующая братия. Спальных мест не хватало, спали кто на чем: на полу, на ларях, даже на большом обеденном столе. Прошло пять дней, пока добрались до Астрахани. От Астрахани поплыли по Каспийскому морю другим кораблем, на этот раз военным, под названием «Тегеран», выпускавшим густые клубы дыма. С остановками в Петровске и Дербенте доплыли на седьмой день до Баку, а потом уже на перекладных, сделав месячный привал в Шемахе, добрались до самого Тифлиса.

В Баку их встретил дедушка Андрей Михайлович Фадеев. При нем был большой конвой из казаков и всадников-татар, так называемых гапар, как говорил дедушка, прирученных разбойников. Эти гапары по пути устраивали настоящее представление. На всем скаку стреляли, выскакивали из седел и опять на них вскакивали, навзничь опрокидывались на конские спины, словно их убивали, свисали под брюхо коней до самой земли и тут же одним махом оказывались в седлах и с гиком неслись дальше, не разбирая дороги, за воображаемым врагом. Для Лёли и Веры это была большая потеха. Ехали кто в дедушкиной коляске, кто в тарантасе, и была еще перекладная с чемоданами. Дорога заняла у них около двух месяцев.

Шемаха, где они надолго остановились и где их ждали бабушка Елена Павловна и тетя Надежда, был губернский полуазиатский городок, расположенный в гористой местности. В нем проживали в большом количестве молокане и немцы-колонисты в синих куртках и в смешных картузах с огромными козырьками, а также русские казаки в бескозырных фуражках набекрень и с ружьями, саблями и длинными пиками за спиной.

Тетя Надежда их встретила на лихом коне, прискакав навстречу обозу. Ей исполнилось девятнадцать лет, и она любила демонстрировать самым неожиданным образом свою ловкость и самостоятельность. Время семья Фадеевых проводила весело, беззаботно и безрассудно. Посещали дома богатых татар, беков и ханов. Лёля при этом вспомнила о пушкинской «шемаханской царице». Убранство жилищ восточной аристократии поражало чрезмерной роскошью. Стены были покрыты панелями из агата и сердолика, лепные потолки сияли зеркальными звездами и золотыми арабесками, мозаичные окна были заключены в рамы из дорогих пород дерева. Прибавьте к этому описанию интерьеров местных дворцов плотные шерстяные ковры, бархатные узорчатые диваны, шитые золотом подушки, резные инкрустированные столики и табуреты, мощенные цветными изразцами галереи, внутренние дворы с мраморными бассейнами, фонтаны, вода которых стекала по стеклянным желобкам, как по плющу. И если при виде такого богатства, вы не задохнетесь от восторга, значит, у вас сильные легкие и крепкое сердце.

Можете себе представить, какое впечатление на Лёлю произвела эта способность восточных владык украшать с переизбытком свою повседневную жизнь, скоротечность, хрупкость и ненадежность которой они ощущали каждое мгновение при всем своем богатстве и могуществе.

Чем ближе они подъезжали к Тифлису, тем наступившее лето всё яростней заявляло о себе пахучими оранжевыми и белыми лилиями, ярко-красными цветами граната, пышными многоцветными розами и словно осыпанными снегом кустами жасмина. Лёле не хватало дяди Ростислава. Кто ее понимал, так это он. В отличие от остальных членов ее семейства. Тетя Надя в счет, разумеется, не шла. К великому сожалению, дядя Ростислав был далеко. Обстоятельства жизни загнали его в ненавистный Екатеринослав.

Скандал с Ростиславом Андреевичем Фадеевым, как часто случается в жизни, разразился неожиданно. Перед этим неприятным событием он побывал на Кавказской войне волонтером. Фадеев принимал участие в сражениях, был дважды ранен в руку и голову. Он

объездил весь Кавказ и Закавказье, собрал большое количество разнообразного материала по этому краю, что пригодилось ему в дальнейшем для написания фундаментальных книг о Кавказской войне. Елена Петровна Блаватская иногда интуитивно улавливала приближающуюся опасность. Ростислав Андреевич Фадеев в этом отношении был ее противоположностью. Он возвратился из Тифлиса в Саратов по некоторым делам на короткое время, намереваясь, завершив их, отправиться в Петербург за официальным назначением на Кавказ в действующую армию. Он предполагал начать серьезную военную карьеру, но судьба рассудила иначе.

В то время в Саратове находился сосланный по распоряжению Николая I граф Мечислав Потоцкий. Причиной немилости царя стали упорно ходившие в обществе слухи о его политической неблагонадежности. Поговаривали, что он оказывал содействие польским мятежникам. Впрочем, убедительных доказательств не приводилось. Обстоятельства, приведшие к ссылке в Саратов Потоцкого, как официально разъяснялось публике, были сугубо бытовые, а не политические. Подчеркивалось, что причиной опалы стала реакция царя на печально известную в свете нравственную нечистоплотность графа.

Еще в 1820 году, за двадцать шесть лет до описываемых событий, Мечислав Потоцкий, пользуясь отсутствием матери, захватил ее дворец, а заодно и драгоценности. Попытки родных воззвать к его совести оказались тщетными. Только обращение матери к Александру I расставило все по прежним местам. Царь, возмущенный позорным поведением сына женщины, которую он уважал и ценил, готов был немедленно сослать его в Тобольск. Только заступничество братьев Мечислава Потоцкого спасло виновного от заслуженной кары.

В этот раз, уже при Николае I, граф не поладил с собственной женой. Непрекращающиеся с ней ссоры приняли неприличные формы. Для разбирательства этих матримониальных склок был направлен флигель-адъютант царя, который встал на сторону графини. Впрочем, мало верится, что только одни семейные неурядицы привели к столь строгому наказанию шурина П. Д. Киселева, одного из влиятельных людей Российской империи. Скорее всего, они были поводом, а настоящей причиной, можно полагать, была постоянно демонстрируемая старшей сестрой Мечислава Потоцкого Софией Станиславовной Киселевой стойкая симпатия к революционной польской эмиграции.

Говорите, что хотите, но сами попробуйте войти в положение Николая I. Не ссылать же ему было в российскую провинциальную глушь под надзор полиции жену его друга и соратника, которая оказалась неводержанной на язык?

Так граф Потоцкий оказался совершенно неожиданно для себя в Саратове, где он смертельно скучал и пытался во что бы то ни стало вырваться из провинциального города.

Графиня Киселева писала Лёлиному дедушке-губернатору слезные письма, умоляя его как-то облегчить положение брата. Но мы знаем, что карьера самого Фадеева тогда висела на волоске, и его заступничество за графа могло только ухудшить положение обоих. Граф Потоцкий, вращавшийся в аристократических кругах Европы, был человеком образованным и умным. Нет ничего удивительного в том, что он часто бывал в семье А. М. Фадеева, где и познакомился с его сыном, который стал для него «драгоценной находкой, оазисом в саратовской Сахаре».

Дела задержали молодого Фадеева в Саратове. Перед отъездом в Петербург его новый друг граф Потоцкий уговорил Ростислава Андреевича похлопотать о его освобождении из ссылки. Он назвал своих приятелей, через которых следовало действовать, и сказал, что в случае положительного решения не пожалеет никаких денег. Фадеев не мог отказать новому другу, Лёлиному дяде исполнилось 23 года, и в подобных переделках он никогда не был. Как только он начал хлопоты по смягчению участи графа Потоцкого, его буквально на следующий день вызвал к себе шеф жандармов и управляющий Третьим отделением Его Императорского Величества канцелярии Леонтий Васильевич Дубельт и приказал незамедли-

тельно покинуть Петербург и выехать под надзор полиции в любой губернский город, кроме Тифлиса, где в то время находились родители про штрафившегося молодого человека и его младшая сестра.

Дядя Блаватской выбрал Екатеринослав, в котором он долгое время жил и в котором у него было много друзей и знакомых. Андрею Михайловичу Фадееву удалось через графа Воронцова вызвать сына в Тифлис сравнительно быстро, в середине 1849 года, но и там за ним долгое время сохранялся строгий полицейский надзор. Только в конце 1850 года Ростислав Андреевич смог поступить на службу в кавказскую армию. Его репутации будущего офицера был нанесен значительный урон. Многие в Тифлисе думали, что его сослали по политическим мотивам. Вот какую кашу заварили ненароком графиня София Станиславовна Киселева и ее брат!

Первая зима в Тифлисе Лёле особенно запомнилась. Не мягким, щадящим климатом, а пьянящей атмосферой общения, театрализованными застольями, восхитительными загородными прогулками. Тифлис был игрушечным уютным городом. Его жители, бодрые и неунывающие, всякий раз к вечеру валились с ног от переизбытка дневных впечатлений. Застроенный преимущественно двух- и трехэтажными зданиями по берегам реки Куры, Тифлис постоянно расширялся, соединял воедино старые, свободно петляющие улицы и переулки и новые, вытянутые словно по линейке. Он забирался в овраги, вползал на отвесные скалы и с этих круч, еще вчера казавшихся неприступными, исходил человеческими криками, гомоном базаров, нависал над рекой пестрыми балконами. Как манящ и соблазнителен был этот город неиссякающих ликующих ритмов и зажигательных вибраций, могущих даже мертвых поднять из могил!

Сколько горя претерпела эта маленькая христианская страна! Особенно досталось ей от соседей-мусульман, персов, турок и татар, упорно стремившихся в течение целого тысячелетия обратить грузин в свою веру – ислам. Разорялись города, разрушались и осквернялись храмы, истреблялся грузинский народ. Но никакое насилие не смогло заставить грузин отречься от Христа и забыть свои обычаи. Самым удивительным из основ грузинского жизнеустройства был закон гостеприимства. Он существовал у них, казалось, с незапамятных времен, как особенность их психики, как их родной язык. Гость дороже друга – вот его великий смысл. Как еще говорили в Тифлисе: «Для гостей последняя копейка ребром».

Тифлис по-настоящему преобразился, изменил свой внешний и внутренний облик с появлением в нем князя Михаила Семеновича Воронцова, генерал-адъютанта, наместника Кавказа. Перемены в городе произошли в самом деле разительные. Были разбиты новые парки, засыпаны овраги и проложены широкие улицы, выстроены двух- и трехэтажные дома. Стала в Тифлисе выходить политическо-литературная газета «Кавказ». Силами русской администрации учредили Публичную библиотеку, отдел Русского географического общества, пансион для благородных девиц. Вскоре появились русский театр и итальянская опера, в которых с огромным успехом прошли спектакли на грузинском и армянском языках. В феврале 1850 года открыли первую в Тифлисе выставку естественных произведений, образцов ремесленной и фабричной промышленности. С появлением князя Воронцова «жизнь потекла на европейский лад, изменились обычаи, вкусы, костюмы, особенно костюмы женщин, которые все реже и реже стали появляться закутанными в белые покрывала (чадры), смягчились нравы, явилась новая обстановка».

Тифлис жил как большая дружная и гостеприимная семья. На его улицах и площадях царило оживление. В лунные вечера под звуки мелодичного *тари* звучали народные песни. Грузины любили хоровое многоголосое пение. Оно сопровождалось игрою и на других инструментах, не уступающих *тари* в мелодичности. Это были *саламури* (что-то вроде кларнета), *чапури* (грузинская скрипка), *чонгури* (балалайка) и *думба* (литавры). Как только

певцы появлялись на улицах, все население соседних домов высыпало на крыши, балконы, выбегало к воротам наслаждаться пением, затягивавшимся иногда до поздней ночи.

В первые дни пребывания в Тифлисе Лёля от ярких впечатлений совсем потеряла голову. Она едва не сошла с ума от пряных тифлисских базаров, от азартных скачек, от храмовых праздников, отмечаемых с религиозным рвением. Наиболее значительные церковные шествия сопровождались громом пушек из Метехского замка. Она любила смотреть, как охваченные религиозным порывом люди бросались с крутых берегов в бурлящую Куру.

Сестра Блаватской Вера вспоминала: «В то время не только в старом городе, но и в европейских кварталах большинство крыш были плоские, с земляными террасами, по которым можно было гулять и смотреть в чужие дворы и на улицы. С крыши и галерей нашей первой квартиры были видны все окрестные сады и здания, тонувшие тогда в виноградниках. <...> Несмотря на палящий июньский жар, до отъезда из города надо было приискать другую квартиру. <...> Это был только что оконченный великолепный и громадный дом, построенный словно крепость за высокими стенами двора, со всевозможными службами, в середине которого был распланирован садик, еще не дававший тени, но полный цветов. Богатый купец-армянин Сумбатов, его хозяин, отстроил его, ничего не жалея, во вкусе полуазиатском, с лепными украшениями, цветными стеклами, с круглым балконом и хорами в огромной овальной зале».

Они почти полностью заняли этот дом-дворец. К сожалению, жить в нем долго не пришлось: князь Воронцов попросил уступить дом Сумбатова бежавшему в Тифлис из Персии дяде тогдашнего персидского шаха. Дедушка снял другой дворец, бывший дом князя Чавчавадзе – великолепное сооружение в самом центре нового города, занимающее с флигелями чуть ли не целый квартал. Различные части этого дворца соединялись между собой галереей, мостиками и лестницами. Посреди обширного двора находились бассейн и розарий. Особой гордостью была зала с зеркальными окнами в два просвета – по тем временам великая редкость. Расписной потолок, позолоченные перила лестниц, великолепные вазы и статуи в просторной прихожей, на лестничных площадках и в больших комнатах украшали этот дом.

В гостиной поражали своеобразные обои, на которых были изображены картины на мифологические сюжеты. Говорили, что эти обои подарил князю Чавчавадзе кто-то из царской семьи. Дух барства витал в этом доме. Лёля прожила в нем около года, а ее родные пребывали там неизмеримо больше – пятнадцать лет. До тех пор, пока не умерли бабушка, дедушка и дядя Юлий Федорович Витте.

Строптивость Лёли, или Лоло, сопровождаемая победным вскидыванием подбородка, резким сведением бровей и разящим, не терпящим возражения взглядом, воспринималась в кругу семьи с большим неудовольствием. Предпринятые для усмирения ее упрямого непослушания строгости не дали результатов. Ведь известно, что настоящий бунт разгорается из-за полумер, направленных на его подавление.

Внешне Лёля изменилась, превратилась в миловидную барышню-блондинку со здоровым цветом лица. В то время в моде были бледные или со слабым румянцем щеки, прямой лоб, слабо развитые скулы, тонкая кость, маленькие руки и ноги, томные или страстные глаза. Грациозность в ней отсутствовала, но зато переполняли энергия и жажда любить и быть любимой. Теперь она вполне соответствовала своему имени Елена – избранная, светлая.

Одетая в белый батистовый пеньюар, утопая в пене кружев, она пила маленькими глотками из изящной чашечки шоколад и делала вид, что над чем-то напряженно размышляет. Наскоро покончив с завтраком, взяла книгу и раскрыла то место, которое с вечера заложила бисерной закладкой. Это была «История Лигурии, со всеми достопамятными происшествиями, тамо бывшими». Книга редкая, напечатанная в 1781 году в типографии масона Николая Новикова. Она еще раз прочитала отмеченное:

«Сохраните в глубине вашего сердца сию ревность к вольности: ибо она будучи спомоществуема мужеством и храбростью, преодолевает наконец все препятствия и неудобства: предки ваши, не успев в своем намерении, оставили вам приобретать сию бессмертную славу». Как ей не хватало вожденной свободы!

Она с нетерпением ждала, когда ее освободят от всей этой галиматии – опеки, гувернанток, экзерсисов и немецкой грамматики.

В доме, который они занимали, почти всегда царила праздничная атмосфера, особенно по вечерам, когда зажигались канделябры и кенкеты, особые масляные лампы с горелкой ниже резервуара. В полумраке неслышно передвигались слуги, таинственно выступали из темных ниш кружевные занавеси, неожиданно расцветали цветы на окнах, мерцали, соблазняя и заигрывая, большие зеркала с подзеркальниками. Навощенные паркетные полы отражали это великолепие жизни и словно двумя руками отталкивали громоздкую черную мебель, которая давила на них, основательно и бесцеремонно. Маленькие язычки свечей зябко поеживались, временами радостно взвивались вверх.

Они жили все-таки в необыкновенном месте – в бывшем доме князя Александра Герсевича Чавчавадзе, известного грузинского поэта, чья старшая дочь Нина вышла замуж за Александра Грибоедова, растерзанного чернью в Тегеране.

В Тифлисе их приняли гостеприимно, затаскали по гостям, приветили и обласкали с обычным грузинским радушием.

Ее разбирало любопытство. Она прислушивалась в одиночестве к этому знаменитому дому, надеясь услышать что-то из его прежней жизни, какую-нибудь захватывающую романтическую историю. Она догадывалась, что необыкновенная тревожная тайна существует в любви Грибоедова и Нины Чавчавадзе. Эта тайна давила на новых домочадцев, создавала в их взаимоотношениях небывалую прежде, странную натянутость. Какое-то всепрощающее сострадание и безмолвная скорбь охватили дом, и всего хуже было то, что никто из взрослых не решался рассказать ей хотя бы часть правды. Словно сговорившись, они заводили с ней речь о посторонних предметах, но о самом главном, о том, что ее интересовало более всего, молчали. Что бы сделать такое, думала она, чем бы их удивить – и тогда у всех мигом развяжутся языки.

Она сознавала, что у ее близких о ней самое никудышное мнение. В семье она была вроде урода, вроде больного места, которого боялись касаться, чтобы не создавать себе новых проблем. Они понимали, что с ней, взрослой барышней, надо говорить совершенно иначе, однако не знали – о чем.

Лёля подружилась с князем Владимиром Сергеевичем Голицыным, двоюродным братом по матери княгини Елизаветы Ксаверьевны, жены князя Михаила Семеновича Воронцова. Владимир Сергеевич часто приходил в гости к Фадеевым. Он, как вспоминает Вера Петровна Желиховская, был «такой большой, толстый и веселый, такой остроумный и так любил петь разные стихотворные куплеты, что очень мне напомнил Закревского. Но когда сказала об этом, Надя с Лёлей начали смеяться надо мной, что Закревский так похож на Голицына, как толстый бульдог на льва. У него было два сына, но у нас чаще бывал старший – Александр, очень красивый». Голицын прославился сочиненным им фрондерским каламбуром, который, распространяясь по России, превратился в афоризм. Напомним читателю этот маленький шедевр, который не потерял актуальности и в наши дни. Князь Владимир Сергеевич в веселые минуты застолья обычно произносил вальяжным голосом, грассируя и растягивая слова: «Господа, а служить (*ослу жить*) в России хорошо!»

– Лёля! – вдруг послышался из гостиной нетерпеливый голос бабушки Елены Павловны. – Иди сюда! Поговорим.

Должно быть, бабушка будет опять уличать ее в плохом отношении к близким. Как все это ей надоело!

– Лёля, ты опять как в воду опущенная. Что с тобой, милая? – Бабушка пыталась быть с ней ласковой и предупредительной. – Ты сегодня вечером пойдешь на бал?

– Бабочка, любимая моя! – она не сдержала своих чувств. – Непременно пойду, непременно!

Более всех о Елене Петровне в ее девичество была осведомлена Мария Григорьевна Ермолова, муж которой Виктор Алексеевич Ермолов был сыном от кебинной жены Алексея Петровича Ермилова, возглавлявшего военную и гражданскую власть на Кавказе в середине двадцатых годов XIX века. Обладавшая необыкновенно отчетливой памятью, Мария Григорьевна отозвалась о юной Елене Петровне как о девушке с выдающимися способностями, весьма заметной среди русской дворянской молодежи Тифлиса.

В Тифлисе внешне отношения Лёли с бабушкой изменились к лучшему. Она старалась выглядеть воплощенным смирением. Только и была занята одной мыслью: как бы сдержаться и не нагрубить кому-нибудь из окружающих. Особенно ее выводила из себя гувернантка, которая как-то сказала, что барышне с ее взбалмошным характером ни за что не выйти замуж, даже за какого-нибудь общипанного ворона.

– Лёля, о тебе ходят неблагоприятные слухи, – сказала бабушка. – Говорят, что ты между делом оскорбляешь достойных людей.

Она вспыхнула и возразила:

– Если ты имеешь в виду это чучело в гусарском мундире, то что ему ни говори, как о стенку горох.

– А зачем ты подпевала князю Владимиру Сергеевичу Голицыну двусмысленный куплет? Даже что-то от себя досочинила.

– Ах, бабушка, он такой большой, толстый и веселый. Настоящий светский лев. Мы от души веселились, и я позволила себе импровизацию. Было, право, очень смешно. Всем понравилось, кроме одного человека, который тебе об этом пении донес и все извратил. Не слушай шпионов, милая бабушка! Они пакостные и завистливые люди. Я отправила бы их всех на Луну.

– Ты опять, Лёля, придумываешь невесть что, – сказала бабушка, расстроенная тем, что их разговор вошел не в то русло, а внучка и на этот раз перехватила инициативу. – Ты лучше чаще общалась бы с сыновьями Алексея Петровича Ермолова. И вообще посмотри вокруг себя. В Тифлисе столько достойных молодых людей из лучших русских семейств.

В этом бабушка была права. Под знамена войны на Кавказе собрался цвет русской дворянской молодежи.

Лёля тоже хотела принести себя в жертву. Удивить всех своим выбором. Например, назло Александру Голицыну, в которого влюбилась по уши с первых минут знакомства, выбрать себе какого-нибудь завалящего женишка. Может быть, думала она, ей подойдет Никифор Васильевич Блаватский? Он служил чиновником по особым поручениям в канцелярии тифлисского губернатора и часто наведывался в их дом. Он был старше Лёли, но разница в возрасте ее мало заботила. Это был скромный, ничем не отличавшийся чиновник. Во всяком случае, неравная пара для нее, девушки из известной, высокопоставленной семьи. Однако он ей как-то признался, что интересуется оккультными науками, после чего Лёля чуть ли не час с ним секретничала.

Она взглянула на дом синими задорными глазами, прислушалась к его шумам, скрипам и шорохам, воззвала к его неослабевающей памяти. Сначала она ничего не услышала. Но вскоре раздался плач – тонкий и безутешный, сочащийся, как влага, сквозь толщу времени. Еще до нее дошел смысл произносимых снисходительно-холодным тоном слов, в которых содержались загадочные намеки на искупление блаженным и наивным детством несправедливой взрослой жизни, полной преступлений и безумной гордыни. Как всегда в подобных случаях, к внятной речи с той стороны примешивалась несуразная абракадабра. Незнакомый

ей человеческий голос вызывал из небытия образы, претящие ее душе: то появлялся семиглавый дракон, то вообще непонятно что, но по виду достаточно жуткое и неопрятное. Не зная, как ей поступить, растерявшись, она зашипела на этих страшилищ, затопала на них ногами, попыталась их урезонить и приструнить.

Большие черные глаза плачущей женщины мелькнули за занавесью. Лёля как бы нечаянно очутилась совсем близко к одному из оконных простенков, у которого кто-то стоял. Оказалось, что нежданная гостья – Нина Чавчавадзе.

Неиспытанное прежде чувство сопричастности чужому горю поднялось в ней, когда они наконец оказались лицом к лицу. Трудно было понять, почему Нина, несчастная женщина, решила на эту встречу. Нина приложила веер к губам – это был деликатный призыв к молчанию, и сделала несколько шагов вглубь комнаты. Только тогда она разглядела на ней бальный наряд: длинный шлейф платья волочился по полу. Вдова Александра Грибоедова была частой гостей у Фадеевых. Она поражала окружающих ее людей, как вспоминает Вера Желиховская, «не только красотой, но и прелестью своего обращения».

Задумчивая и тихая, Нина восприняла ее внимательное сочувствие с застенчивой благодарностью. Глядя на нее, становилось ясно, что она – искупительная жертва. Провидение приготовило ее в дар вечности как расплату за великодержавную сановитость несчастного нининого мужа.

Красота и судьба Нины возводили ее жизнь к событиям библейского масштаба. Кроткая прелесть Нинино лица возвещала победу над человеческими своеволием и властолюбием. Нина более походила на святую мученицу, чем на молодую вдову. И прошептала ей на ухо: «Мы, женщины, спасаем их от сатаны».

Не могли старшие того понять, что Лёлю разрывало на части.

Она получила безалаберное воспитание. Может быть, права бабушка Елена Павловна, называя ее ветреной, взбалмошной особой. А какой же еще ей быть? На нее то лили елей, то обливали помоями. То страстно любили и заласкивали, то поносили почем зря. Чтобы окончательно не впасть в отчаяние, она самоуслаждалась своим странным даром – вслушивалась в потусторонние голоса, всматривалась в необыкновенные видения. Бабушка, требовательная к себе и ничего себе не прощавшая, не прощала и другим: ей, Вере, абсолютно никому, кто не подчинялся установленному в их доме распорядку, пытался жить по своему усмотрению.

От бабушки она унаследовала твердость характера и властность, от отца – горячность и простодушие, от матери – мечтательность и нежность. Они, ее близкие, внушали ей отвращение к той светской жизни, которая велась вокруг и которую они, по своему общественному положению, обязаны были поддерживать. Получалось, что идеалы – сами по себе, а жизнь – сама по себе.

Гул балов стоял в ее ушах, там было так весело, и ее неудержимо тянуло туда. В то же время она ясно осознавала, что стоит увлечься светским образом жизни, и навсегда произойдет разрыв с видениями и внутренними голосами. Она не знала удержу расходившейся фантазии – звала своего Хранителя, но он куда-то исчез. Ей была необходима твердая рука, которая привела бы в порядок мысли.

Ни мнение света, ни предрассудки общества не в силах были остановить Елену Петровну на пути к духовному совершенству и обретению чуда. Это было у нее в крови – поступать наперекор здравому смыслу. Нельзя было допустить, чтобы здравый смысл подмял тайну, которую она несла в себе, вынашивала, как ребенка.

Ее прабабка, французская аристократка, бросив детей и любящего мужа, умчалась на двадцать лет неизвестно куда и непонятно с кем. Никто не смог бы объяснить, почему она это сделала. Только Лёля одна догадалась, примерив прабабкин поступок на себя: ее прабабка,

как и она, получала сообщения оттуда – из космических глубин, из неизведанных далей и неукоснительно им следовала.

Лёля давно уже видела жизнь своей семьи в ином свете. В Тифлисе она избегала разговоров даже с сестрой Верой и тетей Надеждой. Опасно было с ними откровенничать. Одновременно ей нравилась бесшабашно-веселая жизнь, она завлекала в свою пучину. Спустя много лет она убеждала всех и каждого, что не ходила на балы, ссылаясь на невозможность появляться на них в глубоком декольте. Ведь не пристало ей, девушке, прохаживаться почти голой среди чужих людей. В качестве примера приводила невероятный случай, когда она, чтобы не появляться полураздетой на большом балу у царского наместника, якобы умышленно сунула ногу в кипящий котел и шесть месяцев провалялась в постели.

То, что она рассказывала своим соратникам-иностранцам о себе, по большей части было откровенным враньем. Она экспериментировала над ними, играла на их легковерии. На самые немыслимые выдумки Елена Петровна была большой мастерицей. Мы-то сейчас знаем по воспоминаниям сестры Веры, как все обстояло на самом деле. Спустя много лет Елена Петровна утверждала, что всегда ненавидела наряды, украшения, цивилизованное общество, балы и парадные залы.

Это никак не соотносилось с той веселой жизнью, которую она вела в Саратове и Тифлисе. А совсем бесцеремонным враньем было ее признание, сделанное лет в пятьдесят. Она утверждала, что если бы в юности какой-то молодой человек посмел заговорить с ней о любви, она застрелила бы его, как бешеную собаку.

Уже с первых дней приезда в Тифлис Лёля, как свидетельствует ее сестра Вера, выезжала на балы и вечера, упрашивала бабушку Елену Павловну и тетю Екатерину Витте, чтобы ее брали с собой в гости. А знакомых у Фадеевых в Тифлисе было видимо-невидимо. Так что нет у нас оснований не доверять воспоминаниям Веры Петровны Желиховской. Она за честь своей старшей сестры Елены Петровны Блаватской готова была голову на плаху положить! Так не будем осуждать основательницу теософии за ложные сведения, связанные с ее молодостью.

Елена Петровна сполна расплатилась за всё еще при своей жизни. Когда кто-то до неприличия завирается, беспрерывно сочиняет всяческие небылицы, над таким человеком начинают веять враждебные вихри, вокруг него возникает славословящий хоровод из ничемных людей и, соответственно, вся эта суматоха лишает его ощущения реальной и нереальной жизни.

Став Еленой Петровной Блаватской, «старой леди», она, что важно иметь в виду, не признавала дуализма божества, не разделяла одно совокупное целое на «доброе» и «злое». Для нее сатана, Люцифер – «дрожжи вселенной, которые не допускают быть всему на одном месте – это принцип активного движения», как точно определил концепцию Блаватской и принял ее как основополагающую для собственного творчества великий композитор А. Н. Скрябин.

Глава восьмая

Голицын и тайна Атлантиды

Встречи с князем Александром Голицыным она вспоминала последовательно, день за днем, со всей яркостью всплывающих из прошлого картин и отчетливостью ощущений. Знакомство с князем было первым важным событием в ее почти взрослой жизни. Он был старшим сыном князя Владимира Сергеевича Голицына. Представительный, красивый, образованный юноша Александр Голицын какое-то время казался ей лучшим из всех людей, которых она встречала. Как долго сердце ее искало привязанности, и наконец-то, похоже, ей повезло! Накануне нового, 1848 года прошел ее первый бал, к которому ей сшили роскошное платье. Лёля очень любила выезды на балы, вечера, в театр. Не могла существовать без шумных и праздничных людских сборищ, которых не терпела и избегала ее тетя Надежда. «Это был ее первый большой настоящий бал. Она мне показалась – да и в самом деле была – чудо какой хорошенькой!..» – вспоминала сестра Вера. Тогда-то, на этом балу ее как магнитом потянуло к Александру Голицыну, который до этого несколько раз вместе с отцом заглядывал в их дом. Она прошла с ним все шесть фигур кадрили, говоря без умолку. После предновогоднего бала они сильно сблизились. У них оказалось много общих тем для разговоров.

До девяти лет, как признавалась Елена Петровна Блаватская, ее единственными «нянями» были артиллерийские солдаты и калмыцкие буддисты. У одних она научилась уверенно и лихо сидеть в седле, у других – долготерпению и мудрости.

В седле она дышала свободнее. По утрам выбирала из конюшни самого норовистого вороного жеребца и чуть ли не с места пускала его в галоп. Ей нравилась бешеная скачка, когда распущенные белокурые волосы, откинутае назад с белого выпуклого лба, развевались и трепетали от встречного ветра.

Посмотришь со стороны – загадочная обворожительная амазонка из исчезнувшей Атлантиды. Поездки верхом словно охлаждали в ней снедающий жар затронутого честолюбия и непомерной гордыни.

Ранняя весна опушила нежной зеленью деревья и землю.

Она, взволнованная, неслась на лошади, не разбирая дороги. Все чаще и чаще жеребец переходил на шаг, копыта вязли в сплошном месиве грязи. Небо тяжелой попоной спустилось на землю, тучи обложили вершины гор. Издалека слышны были раскаты грома. Она не замечала пронизывающего ветра. За склоном горы показалась старая церковь, сложенная из грубых необтесанных камней. Она прищепила коня, вспугнув с земли целую стаю ворон: их взволненный гай заставил ее вздрогнуть и осмотреться.

Он складывал на площадке перед церковью дощечки, тонкие веточки и плоские камушки. Выстраивал их в шеренгу, столбиком, что-то бормотал себе под нос, не обращая на нее никакого внимания. Лицо то расплывалось в улыбке, то, вспыхивая, искажалось гримасой недовольства.

Лёле представилось, что он совершает какой-то ритуал, ей непонятный.

Никакими ухищрениями и обманом не достичь духовной свободы. Она это поняла только перед смертью, беспомощно опускаясь в кресло у столика, чтобы передать на бумаге свое главное напутствие людям. К сожалению, чуть-чуть не успела, не сорвала перед потомками последнюю завесу.

Она подозревала, что в Тифлисе сохранились толкователи удивительных и загадочно-чудесных фактов и явлений – бесстрашные первопроходцы непознанного, рискованные ныряльщики в бездонные глубины сверхъестественного. На зыбкой почве предположений и догадок строили они Соломонов храм мудрости.

Неужели этот юноша был одним из тех, кого она долго и безуспешно разыскивала? Что заставило его ворожить у спрятанной в горах старинной церкви? Каприз светского человека или магическая необходимость?

Ее вернул в реальность недоуменный и глубокий взгляд юноши, заставив замереть в жгучей, перехватывающей дыхание истоме. Она быстро справилась с собой, с непринужденной грациозностью соскочила с коня и синим пламенем глаз обожгла молодого князя.

Ей уже исполнилось шестнадцать. Она была и романтична и мечтательна, музицировала, посещала балы, но пока еще никто не угадывал в ней выдающуюся личность.

– Какая приятная неожиданность, какая радость, мадемуазель! – произнес молодой князь, слегка картавя на французский манер.

Дерзкий и насмешливый взгляд Голицына заставил ее встrepенуться.

– Поверьте, я уже давно мечтаю поговорить с вами не на ходу, а основательно.

– Так в чем же дело, князь? Судьба, как видите, дарит нам такую возможность. Если вы, конечно, тот самый князь Александр Голицын, сын Владимира Сергеевича, а не его двойник, не мираж, не фата-моргана.

Она любила колынуть без всякого заднего смысла, исключительно себе в удовольствие. Он же ее иронию пропустил мимо ушей.

– Какое счастье встретить вас здесь, – он продолжал отпускать комплименты. – Послушайте, я буду откровенен – вы давно занимаете мои мысли. Прошел уже месяц, как я впервые увидел вас на балу и не в состоянии забыть эту встречу.

«С места в карьер, – мелькнуло в голове. – С чего бы это?»

– Я мучаюсь в догадках по поводу ваших необыкновенных способностей, – продолжал между тем князь. – Кое-что до меня доходит. Правда ли, что вы сомнамбула и к тому же ясновидящая?

Она не сводила с него вдумчивого взгляда, восхищаясь им с той девической непосредственностью, которая возможна только в этом возрасте. Что-то торжественное и загадочное было в его лице, жестах, во всей фигуре.

Не получив ответа, князь Голицын продолжил:

– Извините, может быть, мой вопрос покажется вам бестактным. Но если в вас есть этот талант, его необходимо развивать. И я готов тому поспособствовать.

«Он все-таки чересчур самонадеян», – заключила она, внутренне ощущая манящую, исходящую от него силу. Силу, окутанную властной и сладостной тайной.

– Вы, конечно, слышали об Атлантиде? О ней упоминал еще Платон. Находятся люди, которые считают миф об Атлантиде вздорной сказкой. В лучшем случае – занятой легендой.

Что же касается меня, само это слово вызывает во мне трепет. Не стоит бояться легенд. Они – противоядие засасывающей скуке жизни. Вы верите, что существует неумирающая, проходящая через столетия память поколений?

– Да, – чуть слышно отозвалась она. – Я знаю об этом.

Сердце ее оборвалось, и она, взволнованная, шагнула к нему.

– Вообще-то настоящие открытия строятся не на логике, а на откровении, на догадках и домыслах, на снах, в конце концов. Вы согласны со мной?

Она утвердительно кивнула.

– Память поколений, – тихо проговорил князь, – обширнее и точнее всего, что написано рукой человека. В какой-то степени эта память отражается в преданиях, заговорах и поверьях, в мифах и сказках. Но лишь частично. Преемственность тайного знания сохраняют, берегут от уничтожения временем посвященные: от жрецов Атлантиды и греческих иерофантов до египетских коптов и индусских святых.

Она взглянула на него с легким беспокойством и простодушно спросила:

– Князь, вы маг?

Он не ответил, пристально изучая комбинацию веток и камней, лежащую в уродливой неподвижности. Эта застылая неживая груда сдвинулась и затрепетала столь неожиданно и тревожно, что она, испугавшись, вскрикнула.

Зловещие раскаты оборвали беседу, и они вошли в церковь.

– Я кое-что знаю, – признался князь Александр Голицын и, резко повернувшись к ней лицом, обнял за плечи. Она почувствовала, как рушится тонкая преграда, разделяющая их.

Сильный удар ветра распахнул дверь. Гроза приближалась. Воздух с каждым мгновением темнел и насыщался влагой. Крупные капли брызнули на землю.

По натуре она привязчива, способна на порывы доброты и великодушия. Однако жизнь постоянно загоняет ее в угол, заставляет идти наперекор совести. Она научилась видеть людей и события в выгодном для нее свете. Она попыталась представить будущие отношения с князем. Сразу было видно, что он баловень женщин, явно окружен их поклонением. В ней ширился, рос благоговейный восторг: она готова питаться черным хлебом, но узнает, что есть истина.

– А откуда все эти знания у египтян? – с жадностью спросила она.

Не все сразу, мадемуазель, – ответил он шутливо, направляясь к возникшему из полумрака церкви священнику за благословением. Она также подошла поцеловать руку с тонким, словно девичьим, запястьем и утомленными от долгого перебирания четок пальцами.

За церковными стенами вовсю гроыхала гроза. Отсветы молний падали на иконостас, и лики святых оживали в полумраке. Сердце ее трепетало: он заметил ее, заинтересовался.

В Тифлис они возвращались вместе по черной, петляющей ленте дороги. Их лошади мерно шли рядом. По осунувшемуся лицу и посиневшим губам князя она поняла, что он основательно продрог, хотя и не подавал виду, точно боялся проявить перед ней слабость. Он слегка покачивался в седле из стороны в сторону, задумчивый и уставший.

Внизу жарко пылало светлое зарево города. Она предложила остановиться у обрыва: невозможно было отвести глаз от огнедышащего костра, устроенного людьми много веков назад для победы над страхом перед ночным, непонятным миром.

Сосны в тающем тумане словно пристегивали горы к небу толстыми, просмоленными канатами, подтягивали их к ослабевшим и размаянными после грозы облакам. Она отметила, что кора сосен чем-то похожа на панцирь доисторических животных, чешуйчатых стегозавров, к примеру. Те же узкие и вытянутые струпы, слегка наслаивающиеся друг на друга, та же шероховатая и растресканная, как у обезвоженной и бесплодной почвы, поверхность.

«Как все-таки условна и подвижна грань между формами живой и неживой природы!» – подумала она с удивлением.

– Я убежден, что где-то на земле уцелели потомки атлантов, не все же они погибли? – неожиданно сказал князь Голицын. – Вот мы, люди истины, ищем следы таинственных доисторических цивилизаций, стоявших на высокой ступени духовного развития.

– Конечно, кто-то же должен сохранять память о минувших веках и открывать людям глаза на их прошлое, – подтвердила она, вся превратившись в слух.

– Атлантида, как вы знаете, была огромным материком, размерами больше Азии и Африки вместе взятых. Катастрофа случилась в связи с каким-то космическим катаклизмом, чему предшествовали мощнейшие землетрясения. Разверзлась земля, и богатая цветущая страна провалилась на дно моря. – Он говорил уверенно, без тени сомнения в голосе, словно был уцелевшим свидетелем происшедшего. – Сообщение Платона об Атлантиде облечено в форму мифа о «Солнечном острове», на котором в далекие времена процветало могущественное Государство Солнца с развитым культом бога морских пучин Посейдона и авторитарной теократией. И Христофор Колумб, и испанец Писарро усматривали остатки погибшей в океанской пучине Атлантиды в открываемых ими землях.

– Князь, я поняла, что Атлантида существовала в те времена, когда человечество было единым, не разделенным географически и этнографически. Отсюда и общая форма пирамид, и совпадение многих культов, религиозных эмблем и символов у разных народов.

– Вы умница! – Голицын коснулся рукой ее волос. – Вы достаточно образованная девушка и должны поэтому знать об удивительном сходстве в названиях явлений и символов культа. Например у семитов Передней Азии и тихоокеанских полинезийцев. Должен заметить, вопросов, связанных с Атлантидой, возникает довольно-таки много.

Он испытующе взглянул ей в глаза. Мягкая ладонь князя была холодной, как у покойника. Она же, напротив, пылала, охваченная лихорадочным нетерпением узнать от него как можно больше. Она была уже готова служить ему со всей преданностью.

– Археологи постоянно обнаруживают свидетельства очень древней и высокой культуры. Я убежден, что это следы Атлантиды. Она располагалась, вероятно, на материке между Европой и Америкой. Нетрудно увидеть теснейшую связь между средиземноморской культурой, с одной стороны, и мексиканской и перуанской – с другой.

– Князь, а могла Атлантида погибнуть в результате вулканической катастрофы? – подала она голос, окончательно потрянув с себя гнет робости и молчания.

– Меня в большей степени интересуют не причины, приведшие к гибели Атлантиды, а существование людей, которые сумели предвидеть эту катастрофу и предпринять меры для своего спасения, – ответил Голицын. – Ведь спасая себя, они спасали те знания, которые веками, а может, тысячелетиями накапливала цивилизация атлантов.

– Мы ничего не знаем о прошлом, словно неразумные дети, – вздохнула она и, прищипнув коня, вырвалась вперед. Она вспомнила, что домашние ее заждались и, судя по всему, сходят с ума от беспокойства. Пора спешить! Обронив на ходу: «До скорой встречи!», она понеслась вперед. Голицын прокричал ей в спину:

– Наша встреча должна остаться тайной!

Этих слов она уже не услышала.

Очень скоро Лёля поняла, что Александр Голицын – верхогляд и начетчик. Все, о чем он говорил, узнано им из разных книг, из тех же самых, что прочитала она. Но она прочитала таких книг намного больше, чем он. Он самовлюблен и самонадеян. Вряд ли она увлечет его собой. Если выбирать между ним и Атлантидой, то что для нее важнее – она некоторое время сама не знала. Так именно или приблизительно так думала Елена Ган, влюбленная «на минутку» в старшего сына Владимира Сергеевича Голицына. Его отца она просто боготворила. А какой еще мудрости вы ждете от молодой симпатичной девушки, окруженной молодыми воздыхателями, щеголями в военных мундирах? Лёля уже научилась приковывать к себе внимание окружающих людей, знала, каким словом, жестом и выражением лица их зацепить, но что последует потом? Она влюбила в себя Костю Кауфмана, молодого человека с красным носом то ли от постоянной простуды, то ли от перепоя. В будущем он станет генералом, героем Туркестанского похода. В одном из писем князю А. М. Дондукову-Корсакову она вспомнит о нем: «...мой бедный невинный красноносый друг Константин Петрович! Я не виделась с ним с 1848 года; тогда в Абаз-Тумане он имел обыкновение попусту объясняться мне в любви, восседая на куче картошки с морковью».

От нее не отходил ни на шаг местный Дон-Жуан и греховодник (по ее словам, сказанным значительно позднее) Саша Дондуков-Корсаков, в то время адъютант князя М. С. Воронцова. И сколько их было других молодых офицеров, которые искали ее расположения! Но для своих чувств она требовала драгоценной оправы из мудрых изречений и глубоких мыслей. Вот это ее условие никто из упомянутых молодых людей не был способен выполнить. С Александром Голицыным все разрешилось само собой. Он уезжал навсегда в конце 1848 года вместе с отцом в Москву. Для нее это была настоящая трагедия.

Лёля спешила на последнее тайное свидание за городом с князем Александром Голицыным. Она полюбила его и на тебе! – он уезжает. Его обхождение с ней, его ум, его красота свели Лёлю с ума, и она забыла о правилах ханжеского и мстительного светского общества. Как коротко длилось их счастье! И что же? Ее насильно разлучили с ним, испачкали в грязи. Она навещала княгиню Елизавету Ксаверьевну Воронцову, которая должна была психологически ее поддержать, и почувствовала, что та не на ее стороне. Лёля вовсе не хотела, чтобы ее добрый и великодушный дед Андрей Михайлович Фадеев, кормилец и опора всей их семьи, опять впал в немилость, теперь уже у своего благодетеля князя Воронцова. Она представляла, что за этим неминуемо последует.

Князь поджидал ее там же, у церкви.

– Я скоро уезжаю с отцом в Москву.

– А что мне делать, князь? – Она пыталась отыскать себе спасительную соломинку, одновременно в ней росла неприязнь к тому, перед кем еще вчера трепетала и кого все еще любила.

– Не беспокойтесь. Выход найдется из любого положения всегда. Я уезжаю, но мир тесен. Убежден, что мы еще встретимся.

– Князь, а может быть, мы попутешествуем вместе? – вдруг вырвалось у нее совершенно непроизвольно. Она сама испугалась своей просьбы.

– Девушке больше пристало путешествовать с дамой, чем с мужчиной, уж поверьте мне.

«Отлично, – быстро отреагировала она, – значит, князь не собирается меня соблазнять». Но было в этой мысли и что-то неприятное, словно он пренебрег ею.

«Надо как-то сбить его с панталыку, – подумала она, – а то подумает, что я без него не смогу жить».

И она нашла, что ему сказать. Пусть уж лучше считает ее сумасшедшей.

– Князь, я доверю вам тайну, – сказала она. – У меня есть Хранитель, Защитник. Он появляется неожиданно и всякий раз вовремя. Он выглядит, как индийский принц.

По его спокойному лицу она поняла, что он не придал ее провокации ровно никакого значения. Это слегка ее обидело, но потом она рассудила: князь решил, что она говорила об ангеле-хранителе, а упоминание об индийском принце пропустил мимо ушей.

Князь молчал. Наконец, слегка заикаясь, сказал:

– Как память о себе, дарю вам тау-крест, древнеегипетский символ бессмертия, знак планеты Венера. Мне его привезли из Каира. Если окажетесь там, непременно встретитесь с коптом Паулосом Ментамоном. Он, если захочет, приобщит вас ко многим тайнам.

Она взяла из его рук крестик, по форме напоминавший букву «Т» с овальным ушком, и невольно подумала: «Князь задушил бы меня не в объятиях, а суждениями о таинствах египетского богослужения».

Больше они никогда не встречались. Через двадцать пять лет, в 1874 году, Елена Петровна в одном из своих интервью американским журналистам вдруг заявит, что была обручена с князем Александром Голицыным, но он неожиданно умер. Обручение, если оно в самом деле состоялось, было тайным, и, как можно предположить, влюбленных заставили расторгнуть эту помолвку по настоянию князя М. С. Воронцова и его жены.

Следуя общей страсти своего времени, Елена Петровна искренне тянулась к оккультным знаниям. Мысль о том, что она откроет секрет философского камня, а также возьмет под неослабный контроль скрытые силы природы, подстегивала ее, увеличивала и без того непомерные амбиции. С годами она пренебрегла многими радостями жизни, почти полностью отрешилась от повседневного. В особенности с той поры, как удостоверилась в своем развивающемся магическом даре. Она в самом деле блаженствовала и торжествовала, когда ей удавалось раскрыть перед людьми свои оккультные способности. Она несколько раз совер-

шала в жизни необычные и странные действия, нечто такое, что вызывало у окружающих изумление и даже повергало некоторых из них в шок. Она читала мысли чужих людей и не всегда к месту озвучивала их.

Если прежде она целиком и полностью полагалась на сновидческую правду как на просвет Оттуда, то в старости ей вовсе не нужно было забываться долгим сном, чтобы прозревать будущее и восстанавливать из руин прошлое. Она в полной мере ощущала себя провиденциальной личностью. Само собой разумеется, что состояние экстатического бодрствования отнюдь не означало полного отказа от пророческих сновидений.

В них появлялись призрачные замки, наполненные гремучими змеями и привидениями. Другое дело, что Елена Петровна теперь не прибегала исключительно к снам, чтобы узнать, что же будет с ней завтра. В этом практически не существовало необходимости. Она действовала более осознанно, чем, например, в Саратове или Тифлисе. Ощущение пророческого дара не сделало ее самонадеянной и заносчивой. Она пыталась быть осмотрительнее в своих заявлениях и не скрывала зависимости от высших стихий и существ, с которыми она ухитрялась вступать в общение и которые были ее единственными советчиками и подсказчиками. Ее неустойчивый характер служил источником несноснейших неприятностей для близких.

Не надо забывать, что Провидение щедро одарило ее духом любознательности. Во времена сильнейших встрясок и испытаний она никогда не утрачивала этого Божьего дара.

Лёля попыталась найти кого-нибудь взамен Александру Голицыну.

Ей нравилось обращать на себя внимание Никифора Васильевича Блаватского. Она встретила его не на балу, а у себя в доме, в непринужденной обстановке. Она помнит свое белое кисейное платье. Волны золотистых волос схвачены, словно закованы в берега, черепаховым гребнем. Лёля умела распознать реакцию спутника, знала, как очаровывать, когда того хочешь. Она вспомнила, как подрагивали ноздри Никифора Васильевича, смотревшего на нее во все глаза. Он хорошо знал ее дедушку, сталкивался с ним по службе, работая долгое время в Полтаве в канцелярии губернатора. На Кавказе он был сначала по полицейской части в Шемахе, затем жил некоторое время в Персии и, наконец, оказался чиновником по особым поручениям при тифлисском губернаторе С. Н. Ермолове.

Они стояли молча на балконе, вслушиваясь в южную, звенящую цикадами ночь, а затем вернулись в гостиную. Она, сложив на коленях руки, не смела поднять на него глаз, испуганно бледнела. Старалась скрыть необузданный нрав за смиренным взглядом. Но и сквозь ресницы сумела разглядеть Блаватского основательно и подробно.

Лысая, как колено, макушка. Тогда-то она подумала: «Выйдешь за него замуж – и разнесет, как попадью». Ни subtilностью фигуры, ни отсутствием аппетита она не страдала.

«С этим человеком ты на какое-то время свяжешь свою судьбу», – прозрение было смутным, но прочным.

Он говорил с ней приветливо и ласково, как с избалованным, капризным ребенком. Без излишней назойливости, свойственной молодым людям. Может, это и привлекало, особенно на первых порах.

Никифор Васильевич в разговорах поддержал ее интерес к египетским тайнам, подарил редкие книги по алхимии и масонству.

Они снова вышли на балкон, и она, жадно вдыхая свежую вечернюю прохладу, подумала, взяв за локоть, словно от смущения, немолодого воздыхателя, что не всеми она покинута, не всеми пренебрежена.

Она слышала, что тетя Екатерина Андреевна Витте грозила отдать ее на год в монастырь для укрощения строптивого характера.

Блаватский по делам службы некоторое время находился в Персии. Она вспомнила Грибоедова, и сердце заныло от нестерпимой жалости: «А ведь его тоже могли убить».

Нужно было что-то решать, что-то предпринять, дать понять этому скромному порядочному человеку, что он не одинок, что она ценит его благородную душу. Лицо ее просветлело и, склонившись к Никифору Васильевичу, она едва слышно прошептала: «Не надо вам никому больше ездить, лучше оставайтесь в Тифлисе!»

Ей казалось, что она чуть-чуть полюбила Блаватского и этого «чуть-чуть» достаточно, чтобы вырваться из-под опеки семьи, обрести долгожданную свободу. По прошествии некоторого времени она свыкнется с мужем, а он в свою очередь не станет мешать ее мистическим опытам. Врата, за которыми маячила ее свобода, скрипнули, с трудом сдвинувшись с места на заржавленных петлях, и приоткрылись.

Сердце ее вскоре отозвалось, откликнулось на душевное тепло Блаватского. Исключительно ради нее тянулся он к их семье. Никому и в голову не приходило, что у него столь серьезные намерения. Человек он в возрасте – тридцать девять лет. Ну и пусть думают что хотят.

У нее свои резоны: она увидела в нем черты Грибоедова, блистательного дипломата, поэта, напористого администратора. В себе она узнавала Нину, хрупкую фантазерку, избалованное дитя света.

Они тоже встретились в Тифлисе, как Грибоедов с Ниной. И она, как и Нина Чавчавадзе, бесповоротно решила отдать свое сердце человеку вдвое ее старше. Да и мама была вдвое моложе отца. Видно, в их семье так уж повелось.

Дело теперь было только за ней.

К ее окончательному решению выйти замуж за Блаватского привел разговор с княгиней Воронцовой. Они встретились на балу. Она не помнила, что это был за повод, но разговор остался в ее памяти на всю жизнь.

– Вы хорошеете с каждым днем, Елена, – сделала ей комплимент княгиня, – и так стремительно повзрослели. Ну просто девушка на выданье.

Она скромно потупила глаза, ничего не ответила. Лёля знала, что княгиня Воронцова готова выдать ее замуж и за черта лысого, только не за своего двоюродного племянника.

– Я слышала, что к вам сватается Никифор Васильевич Блаватский. Это на самом деле? Не стоит ему отказывать. Лед и пламень порой рождают дивные вещи. Блаватский – порядочный человек и будет вам предан до гроба. Настоящие женщины выбирают мужей, которые будут им служить. Все мужчины – наши слуги! – закончила речь княгиня Воронцова и одарила ее двусмысленной улыбкой.

Вскоре состоялась Лёлина помолвка с Н. В. Блаватским. Он подарил ей два шлифованных камня с арабской надписью.

Нельзя сказать, что А.М. Фадеев возрадовался столь неожиданному повороту событий. А кому из дедушек, скажите, придется по душе, когда таким бесцеремонным способом унижают твою внучку?!

Князь М. С. Воронцов добился для Блаватского назначения вице-губернатором Эривани – вновь учрежденной губернии Закавказья. Для скромного чиновника это была сногшибательная карьера.

В конце концов старшие Фадеевы дали согласие на брак исключительно потому, чтобы спасти положение, разом прекратив наговоры и слухи о легкомысленном поведении внучки.

Ее мысль скользила в Космосе, как блуждающий огонек – негаснущий земной маяк. Елена Петровна проснулась в лондонском доме на авеню Роуд в холодном поту и до утра не могла заснуть.

Бессонница рождала галлюцинации. Они возникали, как сновидения. Выступали наружу из укромных уголков подсознания, как талая вода, скопившаяся в рывтинах, ямах, ложбинах, овражках ее окоченевшей жизни. Оттаивая, она все еще была обложена этими

зажорами памяти. Одно непродуманное действие, один резкий поворот вспять – и она обязательно рухнула бы в бездонное небытие, утонула бы окончательно и бесповоротно. Недалеко говорят в России: «Не река топит, а лужа». А тут подводные камни моря житейского. Да еще – Тарпейская скала, на которой греки убивали своих болезненных новорожденных.

Она чувствовала, что необратимо меняется. Ей мнилось, что кокон мерцающей туманности, спеленавший ее послушное тело, распадается, и она возвращается из своих потусторонних снов. Превращается в жирную неповоротливую гусеницу и медленно выползает на окраину Млечного Пути, а вокруг стоит вечная морозная стынь.

Теперь, наконец-то, она, жалкое подобие легкокрылой бабочки, выпархивала в живой Космос, возвращалась на землю, к людям.

С огромной высоты она видела сменяющиеся миражи: нечеткие, струящиеся картинки из своего детства, юности и отрочества. От страдальческого умиления и безысходной печали ее дух трепетал в черных провалах космических дыр. Ему, вероятно, было неловко от ощущения заново переживаемой жизни.

Из-за беспрерывного опасения навсегда исчезнуть она (невидимое летучее создание, бабочка-сфинкс) усыхала и исходила дрожью. На ее темном пушистом тельце явственно проступал скособоченный череп – предупреждающий знак вечно хлопочущей смерти. Однако эта скромная затасканная эмблема бренности жизни (слава тебе господи без скрещенных костей) ни в коей мере не соответствовала ее неумирающей сущности.

Нет ничего опаснее, чем обнаружить в себе, находясь в запредельном пространстве сна, ностальгическое чувство, тоску по Родине. Ее непреодолимо потянуло в Россию. Это не проходящее с годами желание мешало ей сосредоточиться на индусских богах и богинях с зеленоватыми пятнами – следами окисления на медных и бронзовых телах; на распаренном жарой воздухе и ослепшем от яркости солнце, на цветастой одежде и рельефных телах индийцев. На всем том стремительно движущемся и пребывающем в ленивой истоме мире, который постоянно чудился ей в Лондоне, а сейчас, за несколько дней до смерти, вдруг непонятно почему затягивался липкой паутиной безразличия, обрастал мхом страха и покрывался мраком отчаяния.

Она впала в забытье.

Из продолжительного обморока ее вывел трогательный монотонный звук зурны. В неприхотливой мелодии было столько покоряющей и завораживающей глубины, что она стряхнула с себя наваждение сна, освободилась от терзающих призраков своих давних согрешений. Вокруг нее зазвучали человеческие голоса, зашептали о гибели ее души. Кто-то сменил мелодию, и она услышала успокаивающий панихидный мотив – повеяло густым и свежим воздухом белых березовых рощ и бело-розовых гречишных полей.

Россия все-таки святая земля!

Мистические волнения оставили ее. Ей захотелось вместо звездной уединенности оказаться в ярмарочной толчее, надземное немедленно сменить земным, надбытность снизить до обыкновенного человеческого быта. Ей захотелось сновидений-воспоминаний.

Никогда не могла она холодно созерцать Тифлис, где зародилась ее взрослая жизнь. Не только Саратовский край, но и Закавказье все еще были полны отсветов, отражений и отзвуков событий и действий, имевших место в ее жизни.

Почему-то Блаватской вспомнилась русская народная мудрость: плуту и вору – честь по разбору.

Она не боялась ни смерти, ни страданий. Двух опасностей, впрочем, не учла в своей жизни: непреодолимую силу невежества и диктат человеческого эгоизма. Ее последователи так и не открыли тайны Голгофы. Не смогли понять, что правда – это то, за что умирают на Кресте. Ведь за ложь не только никто не хочет умереть добровольно, но даже и пострадать желающих не найдется. Не оказалось среди ее теософов мучеников идеи. Лакеи и при-

казчики составили ее воинство. Да еще самовлюбленные негодяи и негодяйки с командными голосами и авторитарными подходами. Всякие там Мории Афанасьевичи и Махатмы Васильевны. Не перестают они топтать ее несчастную Россию, словно не великая это вовсе страна, а жалкая общипанная курица.

Во время бессонницы Блаватской неоднократно мерещился ее труп, заваленный цветами, и всякий подходящий проститься с ней видел себя в предыдущих рождениях либо фараоном, либо Клеопатрой, и никто, абсолютно никто не признавался, что когда-то существовал в теле собаки, гадюки, паука или хотя бы был заурядным скромным чиновником. Все они, ее сторонники, охвачены манией величия: нарочно обманывают себя, преисполняясь при этом непомерной гордыни.

В человеческом сознании больше тайн, чем предполагают люди. Вся история человечества, от начала и до конца, отпечатана в извилинах головного мозга, тогда как «я» великого человека – ослепляющая на мгновение молния этой истории.

В один и тот же час казавшейся вечной ночи она вглядывалась в одну и ту же светящуюся точку – человеческое «я», и не могла смириться с мыслью, что каждый человек, по существу, раб своих предков. Всей прожитой жизнью он уменьшает или увеличивает духовно-энергетический потенциал своего рода.

Может быть, реинкарнация – утешительная ложь. Бессмертен только дух родоначальника. Она все больше уверовала в эту истину, предполагая между тем, что ей несдобровать, если левоверные и корыстные сподвижники поймут ход ее мыслей. Она пыталась их перехитрить, утверждая в теософской практике необходимость и важность рабского подчинения воле Учителей, иерофантов, звездных братьев.

Она отлично ладила с теми, кто поверил в могущество этой воли. Просто удивительно, как быстро они, ее последователи, поверили в то, что ее теософские сочинения написаны под диктовку Учителей. Скажут, она устраивала мистический маскарад и обман, многих водила за нос и оставляла в дураках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.